



Э. ХЕМИНГУЭЙ · РЕПОРТАЖИ



Э.ХЕМИНГУЭЙ

РЕПОРТАЖИ

- РЕПОРТАЖИ, 1920 - 1924
- «ЭСКВАЙР», 1934 - 1936
- ИСПАНСКАЯ ВОЙНА
- ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Автор предисловия Я. Н. Засурский

Перевод с английского Т. С. Тихменевой

В книгу включены публиковавшиеся ранее переводы
И. А. Кашкина

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

ХЕМИНГУЭЙ И ЖУРНАЛИСТИКА

Прошло восемь лет со дня смерти Э. Хемингуэя, а страсти вокруг его творчества и биографии не утихают. Каждый год выходят новые книги, новые статьи о Хемингуэе на его родине и в других странах. Обостряется борьба вокруг его творческого наследия.

Значительная часть американских критиков продолжает свои нападки на творчество замечательного писателя. Им попытался ответить известный американский критик, друг Хемингуэя Малькольм Каули в журнале «Эсквайр» (июнь 1967 г.). «Папа и отцеубийцы» — так озаглавил он свою статью. «Отцеубийцы» — трудно найти лучшее название тем американским критикам, которые выступают против Хемингуэя, стремясь принизить его творчество. В роли «отцеубийц» выступают профессора, известные критики и литературоведы. Университетский профессор Джон Томпсон из Нью-Йорка заявляет, что творчество Хемингуэя больше не влияет на литературу, и серьезные критики замечают, что его работа представляет меньший интерес. Томпсон утверждает, что лишь роман «И восходит солнце» и немногие рассказы Хемингуэя «абсолютно идеальны». Остальные вещи Хемингуэя не стоит и перепечатывать. Его работа, заключает Томпсон, «кажется, больше не содержит никаких обещаний для других, а его книги больше не ценятся писателями».

Другой критик—Ванс Бурджейли—сокращает список достижений Хемингуэя до романа «И восходит солнце»

и 15—20 рассказов. Еще дальше идет Стенли Эдгар Ханли, который оставляет для будущих читателей роман «И восходит солнце» и «пригоршню коротких рассказов». Наконец, Роберт Эммет Лонг устанавливает свой счет достижениям Хемингуэя: к роману «И восходит солнце» он добавляет роман «Прощай, оружие!», зато сокращает число новеллистических достижений чуть ли не до полудюжины.

Лесли А. Фидлер, известный своей психоаналитической вивисекцией творчества многих американских писателей, сводит творчество Хемингуэя к прославлению смерти и пустоты, утверждая, что после первых двух романов и ранних рассказов он был способен только повторять, а в конце пародировать себя.

Дуайт Макдональд отрицает в Хемингуэе талант романиста: «Это факт — Хемингуэй новеллист, а не романист».

Можно привести много подобных утверждений, отрицающих значимость творчества Хемингуэя, причем некоторые критики доходят до того, что сводят значение Хемингуэя до двух-трех новелл.

Даже в истории американской литературы, где есть много примеров, когда критика пыталась уничтожить творчество неугодных ей писателей-гуманистов (вспомним хотя бы о критических нападениях на Драйзера и Уитмена), подобное наступление на Хемингуэя поражает видавшего виды Малькольма Каули: «На этот раз, — пишет он, — мы видим картину, на которой мертвого льва окружила стая шакалов. Сначала они собрались вокруг него осторожно, готовые убежать при первом признаке жизни, а потом, набравшись храбрости друг от друга, они бросаются, чтобы рвать мясо от костей».

Пытаясь найти причину нападков на Хемингуэя, Малькольм Каули сводит их по существу к борьбе разных поколений. Здесь он неправ, и многие моменты в его статье доказывают эту неправоту. Критикам Хемингуэя не нравится не только его художественная манера. Им не нравятся идеи, которые заложены в его творчестве. Именно поэтому так старательно они подчеркивают значимость несомненно талантливого первого романа Хемингуэя и его первых рассказов и так пренебрежительно сбрасывают со счетов его творчество 30, 40 и 50-х годов, когда Хемингуэй создал такие замечательные произведения,

как роман «По ком звонит колокол», повесть «Старик и море», не говоря уже о многих рассказах и публицистических выступлениях. М. Каули ближе к истине, когда говорит, что у Хемингуэя прекрасны не только «ландшафт... рыбная ловля и охота, разговоры у костра и любовь — идеи тоже интересны, даже если они только подразумеваются, ибо он всегда был более интеллектуальным, чем он притворялся».

Выступая в защиту творчества Хемингуэя, М. Каули осуждает критиков, которые пытались сузить круг значительных произведений Хемингуэя, рекомендуемых широкому читателю, или, как он говорит, пытаются сократить «хемингуэевский канон». И позиция М. Каули получила недавно утверждение и поддержку со стороны самого Хемингуэя — это книга его репортажей, которую выпустило в свет издательство «Сыновья Чарльза Скрибнера»: «От собственного корреспондента Эрнеста Хемингуэя» (1967).

Книги о Хемингуэе и его произведения издаются и в Советском Союзе. Интересна нашему читателю будет и книга его репортажей.

Хемингуэй-журналист не нуждается в представлении советскому читателю. Многие его репортажи известны. Часть из них вошла в «Избранное» Хемингуэя в двух томах, опубликованных в 1959 году, другие печатались в различных советских газетах и журналах. Это репортажи Хемингуэя о Генуэзской конференции, статья о судьбе ветеранов войны в Канаде, опубликованная в «Литературной газете» весной 1968 г., «Крылья над Африкой», многие испанские репортажи, статьи об охоте. И тем не менее собранные воедино статьи и репортажи Хемингуэя заставляют по-новому посмотреть на его журналистскую деятельность. Прежде всего бросается в глаза богатство жизненного материала, собранного Хемингуэем-журналистом. Интересен далеко не полный перечень тех стран, в которых он побывал и о которых писал: Канада, Испания, Швейцария, Франция, Италия, Германия, Турция, Греция, Болгария, Кения, Куба, Бирма, Китай.

Э. Хемингуэй часто говорил о том, что считает себя журналистом. И одна из его статей так и называется: «Старый журналист пишет...».

Хемингуэй-журналист пишет о многих вещах: о спекуляции валютой, о ловле форели в Швейцарии, о греко-турецкой войне, об охоте в Африке. Он пишет о народном комиссаре иностранных дел Чичерине и о Марселе Кашене, он берет интервью у Клемансо и у Муссолини, рассказывает о назревании революции в Испании и о приближении угрозы второй мировой войны. Очерки об охоте или рыбной ловле были для Хемингуэя неотделимы от самого процесса человеческого существования.

Во многих статьях Хемингуэй вспоминает о своем детстве, и в этом смысле здесь содержится уникальный материал. Интересны высказывания Хемингуэя о самом себе. В статье, опубликованной в журнале «Эсквайр», он говорит о себе: «Когда ты любишь три вещи всю свою жизнь, с самого раннего момента, который ты помнишь: ловить рыбу, охотиться, а потом — читать, и когда всю жизнь необходимость писать была твоим господином, ты научишься запоминать, и когда ты думаешь о прошлом, ты вспоминаешь больше о рыбной ловле, об охоте и о чтении, больше чем о чем-либо еще, и это удовольствие». Эти слова помогают лучше понять Хемингуэя — человека и журналиста.

Собранные в книге репортажи позволяют глубже и шире понять интересы Хемингуэя, его взгляды, его «подтексты».

Эти глубинные подтексты Хемингуэя здесь выявлены в прямых его высказываниях по различным поводам.

В статье «Последняя ставка марки» мы встречаем чуть ли не первое у Хемингуэя упоминание о Советской России. Рассказывая о том, как уличный торговец пытается сбыть русские банкноты, Хемингуэй не без иронии пишет, что эти банкноты достоинством в миллион рублей давно утратили силу. «Теперь, — пишет он, — Советы выпустили деньги, которые обеспечиваются золотом», а те старые деньги выпускались в таких больших купюрах, по словам Хемингуэя, для того, чтобы обесценить старые императорские деньги и вместе с ними класс, имеющий деньги. Статья эта была опубликована в газете «Торонто Стар Уикли» 8 декабря 1923 года. И хотя здесь о нашей стране сказано немного, и из этого можно заключить, что Хемингуэй тщательно следил за жизнью Советской России.

Хемингуэй часто говорит о фашизме. Его первые

статьи о фашизме относятся к началу 20-х годов. Собственно, с появлением самого слова «фашизм», с выходом на арену фашиста Муссолини Хемингуэй выступил против фашистской угрозы и был верен своим антифашистским идеалам всю жизнь. Тогда он назвал Муссолини величайшим шарлатаном Европы.

Это было в июне 1922 года. Хемингуэй брал интервью у Муссолини (кстати, оно опубликовано на русском языке в журнале «Советская печать», 1966, № 12). Он тщательно анализировал, как это развивается в Италии: фашизм переживает высшую стадию своего развития. «Первой была организация контратак против коммунистических демонстраций, второй — создание партии и, наконец, теперь это политическая и военная партия, которая вербует рабочих и прибирает к рукам деятельность профсоюзов. Она господствует от Рима до Альп».

Хемингуэй был не только врагом фашизма — он тщательно пытался исследовать причины, которые ведут фашистов к власти.

Антифашистская тема звучит и в статьях из журнала «Эсквайр». Она вдохновляет Хемингуэя, пишущего из республиканской Испании и театров военных действий второй мировой войны. Хемингуэй в то же время внимательно следит за развитием революционного движения. Вот его статья «Короли теперь занимаются не тем, чем прежде». Он подробно рассказывает о развитии революционного движения и о судьбах королевских семейств в Европе. Вот он пишет о болгарском короле Борисе и тут же говорит, как в 1918 году «болгарские войска вернулись домой с революционными комитетами во главе» и как затем развернулись революционные выступления в Болгарии, которые были разгромлены старыми прогерманскими армейскими офицерами, взяточниками, интриганами, политиканами. Напомню, что статья была опубликована в «Торонто Стар Уикли» 15 сентября 1923 года.

«Борис, — пишет Хемингуэй, — приятный и общительный блондин. Он чистосердечно не любит Болгарию и хочет жить в Париже». Эта характеристика Хемингуэя не нуждается в комментариях.

Хемингуэй, политический журналист, был очень серьезным аналитиком. В 1934 году в статье «Друг Испании» он говорил о том, что Испания не может жить по-старому и что приближается трагедия. Он предчув-

ствовал приближение революционного взрыва в этой стране.

В статье, опубликованной 11 августа 1938 года в журнале «Кен», — «Программа реалистической политики США» — Хемингуэй писал: «Уже два года идет война в Испании. Год — в Китае. В Европе война начнется самое позднее будущим летом». Он не ошибся. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В той же статье он писал: «Гогенцоллерны были отвратительны, но нацисты будут еще хуже». И здесь Хемингуэй оказался прав.

Нет нужды перечислять в предисловии все глубокие, интересные идеи, высказанные Хемингуэем в его публицистике. Хотелось бы только добавить, что здесь Хемингуэй выступает как вдумчивый политический мыслитель, но при этом всегда остается большим мастером литературы. Он верен своему кредо, изложенному в статье «Старый журналист пишет...»: «Самая трудная вещь в мире — писать чистую, честную правду о человеческих существах». Этому кредо был верен Хемингуэй-журналист, чьим именем подписаны 53 статьи и репортажа, собранные в этой книге.

Эти материалы, взятые из сборников репортажей «Бурные годы» («The Wild Years», N. Y., 1962) и «От собственного корреспондента Эрнеста Хемингуэя» («By-Line: Ernest Hemingway», N. Y., 1967), дают представление об основных направлениях его журналистской деятельности.

Через 8 лет после смерти Хемингуэя американские критики пытаются установить «хемингуэевский канон», сводя его то к двум романам, то к двум рассказам. Если в Америке сужают этот канон, у нас он расширяется. К «хемингуэевскому канону» принадлежат и лучшие его репортажи.

Я. Засурский

РЕПОРТАЖИ, 1920-1924

БЕСПЛАТНОЕ БРИТЬЕ

«Торонто Стар Уикли», 6 марта 1920

«Страной свободных и родиной храбрых» — так скромно именуют республику, расположенную к югу от нас, некоторые ее граждане *. Возможно, что они — храбрые, но что касается свободы — никакой свободы там нет: за все приходится платить. Время бесплатных ** завтраков давно прошло, а если попытаешься вступить в общество свободных каменщиков, то и тут тебе напомнят, что это будет стоить семьдесят пять долларов.

Подлинным убежищем свободных и храбрых является школа парикмахеров. Там все бесплатно. И там действительно нужно быть храбрым. Если вы хотите сэкономить 5 долларов и 60 центов в месяц на стрижке и бритье, посетите школу парикмахеров, но не забудьте прихватить с собой все свое мужество. Ибо посещение школы парикмахеров требует несгибаемого мужества человека, привыкшего смотреть смерти в глаза. Если не верите, посетите салон, где упражняются новички, и предложите себя бесплатно побрить. Я это сделал.

Войдя в помещение первого этажа, вы оказываетесь в хорошо оборудованной парикмахерской. Здесь работают выпускники. Бритье стоит пять центов, стрижка — пятнадцать.

— Следующий! — крикнул один из учащихся. Другие выжидающе на меня посмотрели.

— Извините, — сказал я, — я иду наверх.

Наверх — это значит туда, где бесплатно обслуживают новички.

В салоне наступила гробовая тишина. Молодые парикмахеры многозначительно переглянулись. Один из них сделал выразительный жест, проведя указательным пальцем по горлу.

— Он идет наверх, — сказал парикмахер приглушенным голосом.

— Он идет наверх, — эхом отозвались другие и переглянулись.

* Имеются в виду США. (Здесь и далее примечания переводчика.)

** Хемингуэй использует два значения слова «free» — «свободный», «бесплатный».

Я поднялся на второй этаж.

Наверху я увидел группу молодых людей в белых халатах и ряд кресел, выстроившихся вдоль стены. Когда я вошел, двое или трое направившись к своим креслам и встали около них. Остальные не сдвинулись с места.

— За работу, ребята, еще один пришел, — крикнул белый халат, стоявший у своего кресла.

— Кому нравится, тот пусть и работает, — ответил кто-то из группы.

— Ты не говорил бы так, если бы платил за учебу, — оборвал его прилежный.

— Заткнись. Меня посылает сюда правительство, — ответил бездельник, и группа продолжала мирно беседовать.

Я уселся в кресло, которое обслуживал рыжий парень.

— Давно здесь? — спросил я его, чтобы не думать о предстоящем испытании.

— Не очень, — усмехнулся он.

— Скоро перейдешь вниз? — спросил я.

— Я уже был внизу, — сказал он, намыливая мне лицо.

— Но почему же ты вернулся?

— Несчастный случай, — сказал он, продолжая намыливать мне лицо.

Именно тогда подошел один из бездельников и посмотрел на меня сверху вниз.

— Что, жить надоело? — любезно осведомился он.

— Нет, — ответил я.

— Го! Го! — ухмыльнулся бездельник.

Именно тогда я заметил, что у моего парикмахера левая рука перебинтована.

— Как это тебе удалось? — спросил я.

— Да чуть не срезал большой палец бритвой сегодня утром, — дружелюбно поделился он со мной.

Бриться было не так уж страшно. Ученые говорят, что смерть через повешение — даже очень приятная смерть. Давление веревки на нервы и артерии действует как обезболивающее средство. Мучительно ожидание казни.

Как сказал мне рыжий парикмахер, иногда к ним приходит в день до ста человек, желающих бесплатно побриться.

— И это не бродяги. Многие просто хотят воспользоваться случаем получить что-нибудь задаром.

Бритье — далеко не единственный вид бесплатного социального обслуживания, который можно получить в Торонто. Королевский колледж зубоврачебной хирургии, расположенный на улицах Хертон и Университетской, окажет помощь любому, кто посетит его. Плата взимается только за материал.

Как сказал мне профессор Ф. С. Ярман, главный врач приемного отделения, в клинике насчитывается около тысячи пациентов. Все виды лечения ведут студенты старших курсов под руководством специалистов.

Зубы рвут бесплатно, если применяется местный наркоз, но за использование газа берут два доллара. Как сообщил мне тот же доктор Ярман, обычно за удаление зуба платят три доллара. А в зубоврачебном колледже можно вырвать все зубы всего лишь за два доллара. Это, должно быть, и привлекает охотников за дешевизной.

Профилактика, или тщательная чистка зубов, обходится в колледже от пятидесяти центов до одного доллара. У частных врачей — от одного до десяти долларов.

Зубы вставляют, если пациент оплачивает стоимость золота. Цена от одного до двух долларов. Мосты ставят по той же системе.

Никому не отказывают в зубоврачебном колледже. Если пациент не может заплатить за материал, его все равно лечат. Желаящие воспользоваться случаем, конечно, сэкономят деньги и на лечении зубов.

При больнице «Грейс», что находится через улицу от колледжа, имеется бесплатная поликлиника для нуждающихся бедных. В среднем она обслуживает 1241 человека в месяц.

Но этой привилегией могут пользоваться только «нуждающиеся» бедные. И тот, кто беден, но не признан сестрой благотворительного общества «нуждающимся», должен платить за лечение. Статистика показывает, что половину пациентов больницы «Грейс» в прошлом месяце составляли люди еврейской национальности. Остальные представляли собой пеструю смесь англичан, шотландцев, итальянцев, македонцев и людей неизвестного происхождения.

Когда-то в помещении миссионерского общества «Фред Виктор» на улицах Королевы и Ярвис отпуска-

лись бесплатные обеды. Но руководство общества считает, что в настоящее время необходимость в них отпала. «Сухой закон» и война разрешили проблему «бродяжничества», и там, где когда-то выстраивались длинные очереди безработных за талонами на бесплатный обед, теперь можно встретить лишь случайного просителя.

Если вы хотите обеспечить себе бесплатное жилье, бесплатную еду и бесплатную медицинскую помощь, то существует один верный способ. Подойдите к самому здоровенному полицейскому, какого вам удастся отыскать, и съездите ему по физиономии. Срок пребывания на бесплатной квартире со столом и услугами будет зависеть от настроения, в каком пребывает полковник Денисон (председатель полицейского суда), а продолжительность оказанной вам бесплатно медицинской помощи — от размеров полицейского.

КАК ПРОСЛЫТЬ ВЕТЕРАНОМ ВОЙНЫ, НЕ ПОНЮХАВ ПОРОХА

«Торонто Стар Уикли», 13 марта 1920

Во время последней заварушки с Германией некоторые торонтцы призывного возраста, желая принять участие в войне, в порыве патриотизма эмигрировали в Штаты, где трудились не жалея сил своих на военных заводах. Сколотив приличный капиталец, они мечтают теперь вернуться в Канаду, чтобы получать пятнадцать процентов с денег, заработанных в Штатах.

Горя желанием помочь этим нравственно мужественным душам, поддерживавшим материальную мощь войны, мы приготовили для них несколько советов о том, как прослыть ветераном войны, не нюхав пороха.

Разумнее было бы для возвращающегося патриота селиться на новом месте, а не там, где он жил прежде. Граждане его родного города могут неправильно истолковать мотивы, побудившие его подвергать себя такой опасности, как работа на военном заводе.

Первая трудность, с которой придется встретиться, — отсутствие заграничного значка Канадского экспедиционного корпуса. Это, правда, легко уладить. Если кто-нибудь спросит тебя, почему ты не носишь медяшку, ответь высокомерно: «Не нуждаюсь в рекламе».

Такой ответ заставит человека, вышедшего из строя после Монса и щеголяющего дешевой медяшкой, почувствовать себя неловко.

Если на танцах миловидная особа спросит тебя, случилось ли тебе во Франции встречаться с мистером Смитом, лейтенантом ВВС, или же столкнуться где-нибудь с майором Максуером, скажи холодным тоном «нет», и ты сразу же поставишь ее на место, а кроме того, это единственно возможный ответ в подобной ситуации.

Неплохо было бы заглянуть в один из магазинчиков, торгующих подержанными армейскими товарами, и купить себе куртку. Куртка, хорошо потрепанная зимой в окопах, выглядит куда более убедительно, чем «Военный крест». Если не удастся приобрести куртку, купи пару армейских ботинок. Ими ты сможешь доказать любому в трамвае, что ты служил.

Куртка и армейские ботинки позволят тебе сразу же войти в братство фронтовиков. А братство фронтовиков — это единственное, что приобрели те, кто воевал.

Твое дальновидное решение отправиться в Штаты теперь уже можно считать оправданным. У тебя есть все преимущества побывавшего на войне и никаких ее мрачных последствий.

Очень неплохо было бы выучить мотивчики «Мадемуазель из Армантьера» и «Маделон». Насвистывай эти священные баллады на задней площадке трамвая, и в тебе каждый признает бывшего фронтовика. Но если не обладаешь крепкими нервами, то не пытайся выучить слова этих героических гимнов.

Купи или возьми почитать хорошую историю войны. Изучи ее тщательно, и тогда ты сможешь вести вразумительную беседу о событиях на любой части фронта. Более того, тебе придется не раз доказывать ветерану его ошибки, если даже не полное невежество. Солдат, как правило, обладает никудышной памятью на даты и названия. Воспользуйся этим. Некоторое время добросовестного изучения — и ты сможешь доказать участнику первого и второго Ипра, что он там вовсе не был. Здесь тебе, конечно, поможет и то, что все дни в армии похожи один на другой. Как метко сказал сержант действительной службы: «Каждый день в армии, точно воскресенье на ферме».

Теперь, когда ты прочно утвердил свое общественное

положение бывалого солдата, а возможно, даже и героя, все остальное легко. Будь скромн и непритязателен, и у тебя не будет никаких недоразумений. Если кто-нибудь в конторе обратится к тебе «майор», отмахнись рукой, улыbnись протестующе и скажи: «Нет, не совсем майор».

После этого все в конторе будут называть тебя капитаном.

Теперь у тебя за плечами служба в действующей армии, доказанный патриотизм и прочный патент на офицерский чин. Остается совсем немного. Войди один как-нибудь ночью в свою комнату. Вынь сберкнижку из ящика стола и просмотри ее. Положи ее обратно в ящик.

Встань перед зеркалом, посмотри себе в глаза и запомни, что пятьдесят шесть тысяч канадцев погибло во Франции и Фландрии. Потом выключи свет и ложись спать.

«ДВА-ДЕСЯТЬ»

«Торонто Стар Уикли», 3 апреля 1920

Если вы входите в универмаг с бумажной сумкой, зонтиком или детской коляской, вы вызываете подозрение. Если уже после того, как вы вошли, продавец или администратор выкрикнет: «Два-десять!», — знайте, что подозрение на ваш счет выкристаллизовалось и вас рассматривают как потенциального магазинного вора.

— Кража в магазинах, или неорганизованное воровство жуликов-любителей, превратилась в серьезную проблему для торгового бизнеса, — сказал мне директор одного из больших универмагов Торонто. По его мнению, из-за кражи с прилавков универмаги теряют три процента своих товаров.

Манипуляции с бумажной сумкой, зонтиком и детской коляской являются самыми избитыми приемами магазинных воров. Из-за незатейливости и простоты их осуществления любой покупатель с бумажной сумкой, зонтом или коляской вызывает подозрение у продавцов.

В операции с бумажной сумкой женщина останавливается, точно кого-то поджидая, у прилавка, на котором разложены кольца и другие дешевые украшения, и роется в сумке. Ее рука поднимается от сумки ко рту, и когда она опускается — что-нибудь исчезает с прилавка. Жест

этот так естествен и невинен, что не вызывает подозрений. Однако выдает поспешность, с какой сумка выносятся из магазина.

Нет ничего замысловатого и в способе с зонтиком. В магазин входят с пустым зонтиком, а выходят с наполненным.

Две женщины, ребенок и коляска — вот необходимые условия для успеха в приеме с детской коляской.

Одна женщина везет коляску и делает маленькие покупки. Другая берет товары с прилавка, объясняя продавцу, что она хочет их показать своей спутнице. Все, что ни берется с прилавка, кладется в детскую коляску под ребенка, который таким образом невольно является как прямым, так и косвенным соучастником.

Женщина возвращается к прилавку, когда внимание продавца чем-то отвлечено, и говорит, что она положила взятое на место. Плоские рулоны кружев, как правило, исчезают подобным образом. Они лежат грудой на прилавке, и продавец не может установить, положили рулон на место или нет. С ребенком, радостно восседающим на добыче, коляска спокойно выкатывается из магазина.

«Два-десять», что звучит для непосвященных как обращение к кассиру, продавцу или администратору, является сигналом, который подает любой работник магазина при виде внушающего подозрение клиента. Это значит: смотри в оба за ее десятью пальцами.

Владельцам больших магазинов приходится иметь дело не только с любителями-одиночками, но и с организованными шайками воров, которые в настоящее время успешно действуют в универмагах как Штатов, так и Доминиона.

Профессионалы работают, как правило, четверками. Они приезжают в город и ждут, когда появится объявление о найме продавцов в универмаг. Двое из четверки занимают должности продавцов, а все остальное уже нетрудно. Вопрос только в том, как много товаров им удастся передать двум другим, играющим роль покупателей.

Профессионалы располагают таким разнообразием приемов, что успех им обеспечен. Тем не менее залог успеха их системы заключается в ее простоте.

У администраторов и директоров универмагов есть один почти безошибочный способ опознания вора среди

своих продавцов. Он заключается в применении избитой истины: на воре шапка горит. Если продавщица не спускает глаз с администратора, как правило, оказывается, что она ворует. Она вынуждена следить за ним, чтобы не дать захватить себя врасплох. А раз она следит за ним — она пропала.

Женщины составляют подавляющее большинство среди воров-любителей, но и молодые люди тоже не отстают. Юное поколение привлекают карманные ножи и духи. Эти товары легко сбыть.

Недавно глава торонтского суда, занимающегося малолетними преступниками, обратился в один торонтский магазин с просьбой убрать с прилавка ключи от автомашин. Молодые люди приобретали их, потом открывали машины на стоянках и отправлялись в увеселительные прогулки.

— Клептоманов не существует, — сказал директор универмага. — По крайней мере, нам они ни разу не попадались. Всем, кто крал у нас, либо нужны были сами товары, либо деньги, которые они могли получить, продав их.

Воровство бывает двух видов: профессиональное и непрофессиональное. Любителей мы обычно прощаем и отпускаем на свободу. Профессионалов стараемся отправить в тюрьму. Но никогда в своей практике, а я имел дело с тысячами магазинных воров, я не столкнулся ни с одним клептоманом.

КЛАДБИЩА МОДЫ

«Торонто Стар Уикли», 24 апреля 1920

Большие магазины не застрахованы от капризов моды. Если бы они не прибегали к некоторым уловкам, защищающим их от непостоянства вкусов покупателей, то им грозила бы опасность задохнуться под горами непроданных пальто «Хелайн», костюмов «Пинчбэк» и других отвергнутых любимцев.

Тот, кто пытался купить пальто подходящего ему, но немодного фасона, знает, что это совершенно невозможно сделать ни в одном большом городском магазине. Неужели универмаги и магазины готового платья распродают все товары, которые они закупают? Что происходит с устаревшими моделями и с неудачными фасона-

ми? Такие вопросы могут возникнуть у покупателя.

На это есть ответ. Все модные вещи, когда отживут свой век, поступают в провинцию. Чтобы застраховать себя от непостоянства столичной публики, большие магазины имеют рынок сбыта в каком-нибудь захолустном городишке, в шахтерском поселке или в деревне.

В городе типа Садбери магазин одежды создает себе рекламу тем, что его товары поступают непосредственно из Торонто. Они действительно поступают из Торонто, но житель Садбери или Кобальта, воображающий, что покупает наимоднейшие модели города Торонто, на самом деле носит не нашедшие сбыта товары одного из наших магазинов готового платья.

В городах, расположенных на расстоянии Садбери, продается одежда, только несколько вышедшая из моды. В глубине страны, в деревенской глуши — вот где торгуют настоящим старьем.

Там можно встретить маленькие лавчонки с фальшивыми фронтонами, рекламирующие свое нью-йоркское, торонтское или чикагское родство: «Пальто клеш. Вот что носят на Бродвее». «Модно. Покупайте брюки галифе».

Эти маленькие лавчонки на краю света — настоящие кладбища отжившей моды.

КОНТРАБАНДА КАНАДСКОГО ВИСКИ В ШТАТЫ

«Торонто Стар Уикли», 5 июня 1920

Совсем недавно в любом городишке штата Айова платили двести пятьдесят долларов за ящик, покупая десять ящичков канадского виски. Ящики доставлялись на грузовиках из Детройта. И спрос увеличился.

Канадское виски можно достать у бутлеггеров в любом городе на мичиганской границе за сто двадцать долларов ящик. Бутылка стоит пятнадцать долларов. Там много спиртного и много покупателей, и цена, очевидно, никого не пугает.

Не удивительно, что американцу, вернувшемуся из Канады, чаще всего задают один и тот же вопрос: «Как долго будет продолжаться доставка спиртного из Канады?»

Торговля спиртными напитками как организованная, так и стихийная, ведется через границу в невероятных масштабах. Бутлеггеры, которые доставляют виски в свои надежные резиденции в Виндзоре или в каком-нибудь другом пограничном городе, а потом переправляют свой товар через реку в Штаты, наживают целые состояния. Этот короткий путь через реку — один из самых дорогих в мире. Ящик виски в Виндзоре стоит в розницу сорок восемь долларов, но, как только лодка коснется носом иностранного берега, его минимальная цена автоматически подскакивает до ста двадцати долларов.

В поезде из Торонто в Виндзор я разговорился с человеком, который вез двадцать ящиков виски в Виндзор. Он рассчитывал получить тысячу четыреста пятьдесят долларов прибыли, когда ящики будут доставлены на детройтский берег.

— Все-таки мы рискуем, — сказал он. — Перевозим только ночью в маленьких лодках. У таможи есть пагаруль на моторках, но нам удается от него уходить.

По мнению этого спиртовоза, последняя история с электрической торпедой, наполненной виски и пущенной из Канады в Штаты, — плод большой фантазии заработавшегося журналиста. «Это или газетная утка, или таможенники начали рассказывать сказки. Слишком много выпивки поступает в Детройт, вот сторожевой шайке и понадобилось какое-нибудь алиби, и они состряпали эту историю с торпедой», — сказал он.

Другой бутлеггер в Детройте расспрашивал меня, долго ли еще будет разрешен перевоз спирта из провинции в провинцию.

«Я боюсь референдума. Фермеры могут выступить против нас. Но если у нас есть еще шесть месяцев и даже если меня два раза зацапают, я уже смогу оставить это дело».

Продажа спиртных напитков не ограничивается только большими городами. Вы можете услышать рассказы об одиноких сторожках на северном скалистом берегу озера Верхнего, где хранятся сотни ящиков с виски. Вы, возможно, слышали об охотнике, вложившем все свои сбережения в спиртные напитки и собирающемся летом переправить их контрабандой в Штаты. Рассказывают также о лодках с индейской командой из Гарден Ривер,

которые причаливают в портах Верхней Пенинсулы, после того как стемнеет, и уходят на рассвете.

Вы узнаете о существовании городов, подобных Гран Мэр в Верхнем Мичигане, которые были мертвы в течение двадцати лет, но после принятия восемнадцатой поправки* начинают переходить к скрытому молчаливому пробуждению.

В городах вы можете найти свидетельства того, что между Канадой и Штатами действительно налажена спиртная трасса. В Детройте я видел, как смертельно бледного и вислугубого подростка волокли проулком за театром два перепуганных приятеля его же возраста. У подростка было опухшее лицо, его глаза невидяще смотрели, руки беспомощно болтались. Он был мертвецки пьян.

— Где он так нализался? — спросил я у одного из его перепуганных приятелей.

— Спустил всю свою недельную зарплату на квартиру канадской контрабанды. — И товарищи потащили его дальше по переулку. — Идем, идем. Мы должны увести его отсюда, пока фараоны не застучали его.

Если бы те, кто толкует о «добром виски», видели этого подростка!.. Но это не проповедь о вреде алкоголя. Просто несколько фактов, доказывающих, что спиртные напитки поступают в Штаты из Канады.

Они поступают в огромном количестве, так как их можно найти в таких отдаленных друг от друга городах, как Нью-Йорк-Сити и Миннеаполис. На днях шхуна из Галифакса благополучно доставила контрабанду в Нью-Йорк и принесла целое состояние своему владельцу. Двадцать пять долларов за квартиру — цена самого дешевого виски в Нью-Йорке.

Между Канадой и Штатами длинная, никем не охраняемая граница, и поскольку разрешено перевозить спиртные напитки в пограничные провинции Доминиона, где, как полагают, установлен сухой закон, они находят дорогу в Штаты. Всех жителей Штатов, как самих бутлеггеров, так и тех, кто голосовал за сухой закон, волнует одно — долго ли будет продолжаться доставка спиртных напитков из Канады? Они с нетерпением ждут результатов референдума в Онтарио.

* Восемнадцатая поправка к конституции США о введении в стране сухого закона в 1919 году.

УБИЙСТВА В ИРЛАНДИИ. ЦЕНА ПОДНЯЛАСЬ ДО 400 ДОЛЛАРОВ

«Торонто Стар Уикли», 11 декабря 1920

ЧИКАГО. Гангстеры экспортируются из Соединенных Штатов в Ирландию. Этот факт взят из сообщения Ассошиэтед Пресс.

Согласно слухам из преступного мира Чикаго и Нью-Йорка, каждый пароход, отбывающий в Англию, везет на своем борту одну или парочку ласточек смерти, всегда готовых устремиться туда, где на них появляется спрос. В притонах говорят, что сначала пташки доставляются в Англию, где они рассеиваются в портовых районах таких городов, как Ливерпуль, а потом уже перебираются в Ирландию.

На Рыжем острове они делают свою работу, получают деньги по контракту и смываются назад в Англию. Говорят, что за убийство намеченного полицейского или «чернопегого» * платят четыреста долларов. Это может показаться невероятным, если мы вспомним, что цена в мирное время в Нью-Йорке была сто долларов. Но гангстер — это тоже специалист, и на него цена повысилась, как и на боксера-профессионала.

За убийство хорошо охраняемого судьи или какого-нибудь чиновника платят тысячу долларов. Экс-убийце, с которым я беседовал в Чикаго, эта цифра показалась фантастической.

«Конечно, кой-кто из этих пташек загребают легкие деньги в Ирландии. В этой стране нетрудно работать, но пусть мальчишки получают свое. Одно дельце — и поездка в Париж».

Действительно, летом и осенью этого года в Париже было больше, чем когда-либо, уголовных элементов из американских притонов. Говорят, если бросить камнем в толпу перед будками тотализатора на знаменитых бегах в Лонгшамп, то наверняка попадешь в американского гангстера, или карманника, или взломщика.

Большая часть «мокрых» денег из Ирландии пошла на скаковых лошадей. Ибо убийца любит испытывать судьбу. Он верит, что если сорвет крупный куш, то

* Так называли в Ирландии солдат английских карательных отрядов во время национально-освободительной войны 1919—1921 гг.

сможет начать спокойную жизнь и оставить свое ремесло. Но это ремесло трудно оставить, потому что мало профессий, кроме разве бокса, которые бы так высоко оплачивались.

Сносившему голову «головорезу», удостоившему меня чести знакомства с собой, — тридцать восемь лет. Пожалуй, лучше не описывать его внешность слишком подробно, а то ему вздумается совершить налет на редакцию газеты. Он красив, как хорек. У него изящные руки, а вообще напоминает он жокея, несколько вышедшего из формы.

Он бросил убивать, когда бросить было выгодно — в стране был объявлен сухой закон, и торговля виски сделалась самой доходной свободной профессией.

Когда его основные клиенты обнаружили, что лучше и дешевле перевозить виски из складов Кентукки, чем рисковать и переправлять товар через воображаемую линию, которая разделяет Соединенные Штаты и Канаду, он оставил и это занятие.

Теперь он ведет праздный образ жизни, и торговцы ценными бумагами обхаживают его. Когда я беседовал с ним, он все время пытался увильнуть от разговора об убийствах в Ирландии и усиленно добивался моего личного мнения о японских правительственных одиннадцатипроцентных облигациях.

За один день я узнал многое о его ремесле. Да, в Ирландии работают американские «мокрых дел» мастера. Да, он лично знаком с некоторыми из них. Он не знает, на чьей стороне правда. Ему до этого нет дела. Он думает, что все исходит из Нью-Йорка. Потом уже действуют из Ливерпуля. Нет, он особенно не переживает, что убивают англичан. Им все равно надо когда-то умирать.

Он слышал, что большинство «стрелков», как, впрочем, и всегда, итальяшки. Вообще большинство стрелков — итальяшки. Макаронники — хорошие стрелки. Они обычно работают на пару. В Штатах работают на машинах, потому что на машине уйти легче. Очень важно в деле уйти. Любой может справиться с работой. Уйти — вот что ценится. На машине гораздо легче. Но тут трудность — шофер.

Заметил ли я, обратился он ко мне, что во всех неудачных делах бывает виноват шофер. Полиция выследит машину, потом шофера, и шофер продаст. Вот

почему плохо работать на машине. «Этим шоферам нельзя доверять», — сказал он.

Убийства в Ирландии для них — своего рода коммерческое предприятие. Сам он фигура не только негероическая, но и неколоритная. Он нахохлившись сидит над стаканом виски и думает, как бы повыгоднее вложить свои деньги. Его хищный ум занят только одной этой мыслью, и еще он желает мальчикам удачи. А мальчикам, кажется, везет.

ВОЙНА ГАНГСТЕРОВ В ЧИКАГО

«Торонто Стар Уикли», 28 мая 1921

Антонио д'Андреа, бледный человек в очках, потерпевший поражение кандидат в олдермены от 19 округа города Чикаго, вышел из закрытой машины перед своим домом и с автоматическим пистолетом в руке, осторожно пятясь, начал подниматься по лестнице.

Когда он достиг двери и протянул назад левую руку, чтобы нажать кнопку звонка, из окна соседнего дома ослепительно сверкнули две красные вспышки, и д'Андреа услышал оглушительный треск и почувствовал страшную боль во всем теле от ударов пуль из выстрелившего обреза.

Так окончился путь, начавшийся в маленьком сицилийском городке, где бледнолицый юноша готовился принять сан священника. Так окончился путь, пролеглий через солнечные горы Сицилии и дальше через океан в дома чикагских нуворишей. Путь, который провел его через каторжную тюрьму и вывел на арену ожесточеннейшей политической борьбы, какую когда-либо знали в Чикаго.

Но это был еще не конец. Ибо смертельно бледный и обессиливший д'Андреа с очками в роговой оправе, разбитыми, но все еще державшимися на месте, приподнялся на колени и, глядя близорукими глазами в темноту, выстрелил пять раз из автоматического пистолета в направлении, откуда из обреза прогремел ему смертный приговор.

В течение нескольких месяцев д'Андреа входил в свой дом с оружием наготове, ожидая такого конца. Он знал, что обречен, но хотел опротестовать приговор.

Это — всего лишь эпизод политической войны гангстеров, свирепствующей в настоящее время в Чикаго.

Антонио д'Андреа, скончавшийся сегодня в больнице Джефферсон Парк с двенадцатью пулями в теле, получил образование в университете Палермо. Он отказался от духовной карьеры и переехал в Штаты.

В Чикаго д'Андреа давал уроки иностранных языков в самых богатых семьях нуворишей. В 1899 году он получил американское гражданство, после чего пустился в различные коммерческие предприятия. Он был агентом по продаже недвижимости, владельцем макаронной фабрики и банкиром.

В 1902 году сыскная полиция совершила налет на его дом, потому что ей стало известно, что д'Андреа наводнил Чикаго фальшивыми десятицентовыми монетами. Поддельные деньги были найдены агентами как дома у д'Андреа, так и на его макаронной фабрике. Его судили, признали виновным и приговорили к заключению в каторжной тюрьме. Отбыв там гренадцать месяцев, он был помилован президентом Рузвельтом.

После каторжной тюрьмы д'Андреа стал лидером итальянского профсоюза и уже вскоре заявил о своем намерении заняться политической деятельностью. Он впервые появился на политической арене в 1914 году, когда потерпел поражение на выборах в окружные комиссары.

В 1916 году он начал борьбу с Джоном Пауерсом, олдерменом от 19 округа, занимавшим этот пост в течение двадцати пяти лет. И хотя д'Андреа доказал, что он восстановлен в гражданских правах президентом Рузвельтом, его прошлое принесло ему поражение.

Его влияние среди итальянцев продолжало тем не менее расти, и когда был убит у себя в салуне Фрэнк Ломбарди, ревностный сподвижник Пауерса, это первое из цепи убийств положило начало кровавой междуусобице Пауерса и д'Андреа.

Последняя предвыборная кампания открылась бомбардировкой дома олдермена Пауерса. Потом штабквартира д'Андреа подверглась бомбардировке как раз во время собрания, и многие его приспешники были тяжело ранены.

Олдермен Пауерс, известный среди итальянцев как Джони де Пау, победил на ноябрьских выборах прош-

лого года с преимуществом в 400 голосов. Немедленно д'Андреа объявил соревнование — и последовала целая серия убийств.

Гаэтано Эспосито, верный соратник Пауерса, был выброшен из машины, мчавшейся на полной скорости, в самом центре города; его тело было изрешечено пулями.

Поль А. Лабриола, городской судья, которого, по мнению многих, Пауерс пестовал себе на смену, был убит по дороге в суд. После того как он упал, один из пяти преследователей склонился над ним и выстрелил пять раз ему в спину.

В тот же день Гарри Раймонди, сицилиец, земляк д'Андреа, другой верный человек Пауерса, был смертельно ранен в своей бакалейной лавке. Полиции стало известно, что двадцать пять приспешников Пауерса были занесены в черный список. Все приговорены к смерти. Ни один из сторонников Пауерса в районе не был уверен в своей безопасности. Тогда последовала первая угроза репрессалий и мести.

— Д'Андреа обречен, — сказал олдермен Пауерс, — я не могу больше сдерживать своих людей.

Все сразу успокоилось — и вдруг 11 мая д'Андреа убили. Но война в 19 округе города Чикаго еще не окончена. Все кишит слухами и догадками, в барах и салунах шепчутся, и на вопрос, задаваемый вполголоса: «Кто следующий?» — ответов много.

ЧИКАГО НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАКИМ МОКРЫМ, КАК ТЕПЕРЬ

«Торонто Стар Уикли», 2 июля 1921

ЧИКАГО. Некоторое время после установления сухого закона добывание спиртного в Чикаго было овеяно романтическим ореолом. Хитроумный искатель контрабанды был посвящен в тайну кабалистических знаков, которыми он объяснялся с проницательным барменом. Культ поднятого пальца и подергивания уха процветал. «Быть своим» наполняло людей своеобразной гордостью.

Но это уже стало историей.

Теперь, если вы захотели выпить в Чикаго, вы идете в бар и пьете. «Свой» вы или «не свой» не имеет никакого значения, лишь бы в кармане нашлось семьдесят пять

центов. Можно сказать наверняка, что в Чикаго, где бы вы ни оказались, не дальше, чем через три квартала всегда найдется бар, где открыто, за стойкой, торгуют виски или джином.

Приезжие из других штатов удивлены и поражены. Все кажется невероятным. Однако происходящее объясняется очень просто.

Городская полиция Чикаго не принимает никакого участия в проведении в жизнь восемнадцатой поправки. Чикаго всегда голосовал за «мокрый» закон, и чикагская полиция с ее неподражаемой тупостью американского «быка» продолжает считать Чикаго «мокрым» городом.

Есть в Чикаго восемь федеральных чиновников, посланных проводить в жизнь восемнадцатую поправку. Четверо из них заняты канцелярской работой, другие охраняют склад. И поэтому все в городе осталось по-прежнему, исключая цены на спиртное, которые несколько повысились после введения сухого закона.

В Чикаго есть и пиво. Сент-Луис был самой большой пивоварней Штатов. Когда начал действовать сухой закон, сент-луисские пивовары решили, что пришел конец их пивоваренному бизнесу, и быстро превратили свои большие заводы в фабрики безалкогольных напитков. Чикагские пивовары прочли предписание на стенах своих заведений и сначала даже глазам своим не поверили. Они прикрыли заводы на некоторое время, а потом продолжали делать пиво — настоящее пиво — с еще большим процентом алкоголя, чем разрешалось до опубликования восемнадцатой поправки.

Теперь мы наблюдаем любопытное зрелище — борьбу сент-луисских пивоваров за установление сухого закона. А все потому, что настоящее пиво поступает в таком огромном количестве из чикагских пивоварен, пущенных на полный ход, что убивает потребность в производстве местного продукта.

Когда пивовары возобновили производство своего напитка в таком же масштабе, что и до сухого закона, пиво можно было достать в городе, но стоило оно пятьдесят центов кружка. Впоследствии некоторые бары и рестораны начали сбивать цены, и теперь по всему городу пиво продается по цене тридцать центов штейн, или пятнадцать центов стакан, или пятьдесят долларов бочка.

На днях в «Петле» я видел трех конных полицейских.

Они сидели за столиком перед высокими кружками пива. Их лошади были привязаны у входа в ресторан. К нам подошел старший официант и, извинившись, попросил у нас разрешения на минутку отодвинуть столик. Мы встали, столик был быстро сдвинут в сторону, и перед нами открылся люк. Оттуда четыре белоснежных официанта выкатили двенадцать бочек пива. Когда они катили их мимо столика полицейских, все трое с любовью посмотрели на пузатые коричневые бочонки.

— Это настоящий добрый старый напиток, — сказал один из них со знанием дела, — настоящее доброе старое пиво.

Так полиция проводит в жизнь сухой закон.

Конечно, процветает вымогательство. Хозяин пивной или ресторана, открыто торгующих спиртным, должен платить известную мзду полиции, что вызывает постоянный рост цен. В борьбе с этим злостным бичом появляются новые питейные заведения, которые не платят полиции по высокому тарифу. Так называемый спортивный клуб — типичное заведение подобного рода. Цель его — вырвать у полиции ее еженедельную взятку. Говорят, что новый бизнес процветает.

Миновав часового в жокейской шапочке с красным лицом и быстро бегаящими глазками, который небрежно играет электрическим звонком у входа, вы взбираетесь по лестнице на третий этаж и оказываетесь в помещении клуба. Вход туда прегражден цепочкой и открывается только по предъявлению синей карточки, где указаны ваше имя, номер и название клуба. После тщательного изучения карточки вас пропускают в клуб.

Обстановка «Клуба Новата» незатейлива, всего несколько столиков и стульев. Как только вы усаживаетесь за столик, появляется негр-официант с наполненными стаканами. Цена одного стакана — только пятьдесят центов, и виски здесь несколько старше, чем то, что продается в соседних барах.

— Фред, — говорите вы официанту, — эти джентльмены хотят стать членами клуба.

— Да, сэр? — Фред держится с достоинством. — Если они будут так любезны и напишут свои имена на клочке бумаги, для меня большая честь вручить им членские карточки.

Через некоторое время приносят карточки, и число членов «Клуба Новата» увеличивается.

Не было еще такого случая, чтобы кого-нибудь забаллотировали в «Клуб Новата». Число его членов уже перевалило за тысячу, и он по праву претендует на первенство среди самых больших клубов Чикаго.

Маклеры, биржевики и торговцы ценными бумагами с улицы Ла Сталь являются его постоянной и верной клиентурой.

Такое положение недолго будет оставаться без изменений. Правительство пришлет еще несколько агентов проводить в жизнь сухой закон, возможно, администрация перестанет быть либеральной, но в настоящее время любой приезжий чувствует себя как дома и любой напиток можно достать в городе Чикаго.

ТУРИСТ В ШВЕЙЦАРИИ

«Торонто Стар Уикли», 4 февраля 1922

ШВЕЙЦАРИЯ. Из-за того, что цена швейцарского франка все еще не поднялась выше двадцати центов, страна стремительно катится к обнищанию. Туристы всегда были основным источником дохода Швейцарии, но теперь стóит туристам заглянуть в валютный курс и увидеть, что они могут получить только пять франков за свой доллар, им уже не хочется ехать в Швейцарию. И как следствие этого, районы страны, до войны кишевшие туристами, напоминают в настоящее время пустынные города быстро застраивающейся Невады.

В Швейцарии закрыты сотни отелей, и туристы прибывают туда жалкими струйками когда-то мощного потока, которым они наводняли страну до войны. Владельцы отелей в отчаянии. Богатые швейцарцы, когда им хочется рассеяться, уезжают в австрийский Тироль, где на франк можно купить целый бушель крон. Французы же совсем не ездят в Швейцарию.

— Хорошо бы швейцарский франк упал до французского, — сказал мне сегодня хозяин большого отеля, — тогда бы мы получили свою долю туристов, поступающих теперь в Европу. Цены здесь практически такие же, как

и на подобных курортах во французских Альпах, но все туристы хотят получить как можно больше франков за свои доллары, вот поэтому они не едут сюда.

В самом деле, турист чувствовал бы себя так же прекрасно в Швейцарии, как он чувствует себя сейчас во Франции, потому что большие отели Франции и Италии нейтрализуют выгоду, создающуюся валютным обменом, соответственным повышением цен.

Полный пансион в хорошем швейцарском отеле обходится туристу от 15 до 25 франков, или от трех до пяти долларов. Во французском отеле того же разряда от 35 до 55 французских франков, или от трех до пяти долларов.

Напомним туристу, что владельцы отелей, имеющие клиентуру из Америки и Англии, следят, как ястребы, за изменениями в валютном курсе и устанавливают цены на комнату соответственно довоенным расценкам в долларах. Поэтому в Швейцарии так же дешево, как и в других странах. Но туристы не знают об этом, и Швейцария расплачивается за свой нейтралитет самым неожиданным образом.

У БЕРЕГОВ ИСПАНИИ — ТУНЕЦ

«Торонто Стар Уикли», 18 февраля 1922

ВИГО. ИСПАНИЯ. Порт Виго с мощеными улицами и бело-оранжевой штукатуркой домов, точно бутафорская деревушка, прилепился на одной стороне огромной бухты, способной вместить весь британский флот. Выжженные солнцем бурые горы тяжело сползают к морю, совсем как усталые старые динозавры, а цвет воды такой же голубой, как лазурь неаполитанского залива.

Серая бутафорская церковь с двумя колокольнями и унылый мрачный форт на вершине горы смотрят на голубой залив, куда уйдут хорошие рыбаки после того, как снег заметет северные реки и форель уснет в глубоких омутах под застывшей пеной льда. Ибо яркая голубизна залива полна жизни.

Там живут стаи неизвестной плоской радужной рыбы, косяки хищной длинной и узкой испанской макрели и всевозможные виды крупного морского окуня со стран-

ными и нежно звучащими названиями. Но в основном там обитает тунец — царь всей рыбы, правитель Валгаллы рыбаков.

Рыбак выходит в море на бурой лодке с треугольным парусом, которая кренится пьяно и решительно, и управляет резкими короткими взмахами весел. Ловит он на серебристую барабульку и, распуская леску, тащит ее за лодкой. Как только наживка погружается, в море начинается серебристое плескание, точно в него высыпали целый бушель картечи. Это стаи сардин выскакивают из воды, вытесненные волнами от большого тунца, который разрезает воду крутыми ударами и выстреливает в воздух на все свои шесть футов. Вот тогда-то сердце рыбака начинает сильнее биться, а потом вдруг замирает, потому что тунец с шумом ныряющей с мола лошади шлепается в воду.

Большой тунец бывает серебристого или серо-голубоватого цвета, и когда он выстреливает в воздух близко от лодки, кажется, что ослепительно блеснула ртуть. Его вес достигает 300 фунтов, но прыгает он с резвостью и яростью радужной форели. Иногда пять-шесть тунцов одновременно выскакивают из воды в заливе Виго, точно дельфины, преследующие стаю сардин, и взлетают в неистовом прыжке, таком же четком и красивом, как первый рывок хорошо зацепившейся форели.

Испанские лодчики возьмут вас в море рыбачить за доллар в день. В заливе Виго много тунца, и он хорошо идет на наживку. Это изматывающий, тяжелый труд, от которого болит спина, ноют мускулы, хотя вы и работаете удочкой толщиной с ручку мотыги. Но если вы после шестичасовой борьбы вытащите из воды большого тунца, победите его в поединке «человек против рыбы» и, почти обессилев от постоянного напряжения, в конце концов поведете его рядом с лодкой, зелено-голубоватого и серебристого в ленивом океане, вам будут отпущены все грехи, и вы сможете смело войти в общение с древними богами, и они будут приветствовать вас.

Веселые загорелые боги, которые вершат справедливость в охотничьем раю, живут в старых оползающих горах, обступивших ярко-голубой залив Виго. Они живут там и удивляются, почему настоящие хорошие рыбаки не приезжают в Виго, где их ждут щедрые дары охотничьего рая.

БАРЫШНИКИ — ВОЛКИ И ОВЦЫ

«Торонто Стар Уикли», 4 марта 1922

ЛЕ-АВАНТ, ШВЕЙЦАРИЯ. Швейцария, маленькая горная страна, взбирающаяся вверх и спускающаяся вниз, утыкана огромными бурыми отелями, построенными в стиле архитектурной школы «часы-кукушка». Там, где дорога делает поворот, обязательно расположился отель, и кажется, что все эти отели сделаны одним мастером и выпилены одной пилой.

Вы прогуливаетесь по мрачному дремучему лесу на склоне горы. На снегу видны следы оленя, а большой черный ворон раскачивается высоко на ветке сосны и наблюдает за вами. Где-то внизу лежит мягкая от снега долина, взбирающаяся вверх и переходящая в белые зубренные вершины с островками сосняка на склонах. Здесь так же дико, как в канадских Скалистых горах. Потом дорога делает поворот—и перед вами появляются четыре чудовищных отеля, усевшихся на склоне горы. Они похожи на гигантские игрушечные дома, которыми отмечен тот период канадской архитектуры, когда фасады домов с газонами обносились чугунными решетками. Их вид впечатляет вас.

Эти роскошные отели разбросаны по всей стране, как рекламы вдоль правой стороны железной дороги, и зимой наводнены очаровательными молодыми людьми в белых свитерах с гладко зализанными волосами, которые хорошо зарабатывают на жизнь игрой в бридж. Эти молодые люди играют в бридж не друг с другом, во всяком случае в рабочее время. Обычно они играют с пожилыми женщинами, годными им в матери, и когда эти женщины сдают карты, на их пухлых пальцах сверкают платиновые кольца. Я не знаю, как у них все работает, но молодые люди, кажется, вполне удовлетворены, а женщины, очевидно, могут позволить себе проигрывать.

Там также можно встретить французскую аристократию. Но это не та блестящая аристократия беззубых старух и усатых седовласых стариков, делающих последнюю ставку в Фобур Сент-Оноре в Париже против постоянно растущих цен. Французская аристократия

представлена в Швейцарии молодыми людьми, которые с одинаковым изяществом носят очень старинные фамилии и очень узкие в коленях бриджи для верховой езды.

Их немного, тех, кто носит громкие имена Франции и благодаря акциям в угольном или горном деле разбогател во время войны, а теперь может себе позволить останавливаться в одних отелях с дельцами, поставившими армии одеяла и вино. Когда молодые люди со старинными фамилиями входят в комнату, где сидят барышники со своими довоенными женами и послевоенными дочками, кажется, что поджарый волк входит в загон к жирным овцам. Их появление понижает цену титулов барышников. Независимо от национальности последним становится не по себе.

Кроме мальчиков для бриджа (они же мальчишки для танцев после зимнего сезона), старой и новой аристократии большие отели населены краснощежими англичанами с семьями, проводящими целые дни на лыжных склонах и трассах бобслея, бледными мужчинами, которые живут в отелях, ибо знают, что если они уедут отсюда, их ждет долгое пребывание в санатории, пожилыми женщинами, заполняющими свое одинокое существование суетой отельной жизни, а также американцами и канадцами, путешествующими для собственного удовольствия.

Швейцарцы не делают никакого различия между канадцами и гражданами Соединенных Штатов. Меня это заинтересовало, и я спросил хозяина отеля, не заметил ли он разницы между жителями двух стран.

— Мосье, — сказал он, — канадцы говорят по-английски и всегда останавливаются в любом месте на два дня дольше американцев.

Так вот, оказывается, в чем дело!

Говорят, что владельцы отелей — мудрый народ. Все американцы, которых мне довелось встречать, были слишком заняты, чтобы научиться говорить по-английски. Гарвард был основан как раз для этой цели, как поговаривали в свое время злые языки. Ну, а если жители Штатов вдруг начнут говорить медленнее, хозяева отелей, возможно, изобретут какие-нибудь новые тесты.

ПАРИЖСКИЕ МОДЫ

«Торонто Стар Уикли», 11 марта 1922

ПАРИЖ. Наконец-то найдено объяснение шарообразной форме брюк, суженных книзу, которые носят французские рабочие. Люди годами мучились над загадкой, почему французскому рабочему нравится наряжать себя в эти широченные брюки, такие узкие у обшлагов, что в них трудно просунуть ногу. Теперь все ясно. Ему они не нравятся. Его жена покупает ему такие брюки.

Недавно на французских фабриках в рабочее время организовали торговлю мужской одеждой. Рабочие меняли пальто, брюки, шляпы, обувь. Это был своего рода бунт против феминизма. С незапамятных времен жены французских рабочих покупали всю одежду мужьям, теперь французские мужчины начинают оказывать сопротивление.

Два француза, служившие в одном полку во время войны и не видевшиеся с демобилизации, на днях в автобусе делились своим горем:

— Что с твоими волосами, Анри? — сказал один.

— Это моя жена стрижет их. А что с твоими? Они тоже имеют не очень-то шикарный вид!

— Это все моя жена. Она стрижет их. Она говорит, что парикмахеры — грязные свиньи, но в конце концов оказалось, что я должен ей давать те же чаевые, что и парикмахеру.

— Да что волосы! Ерунда! Посмотри на эти ботинки!

— Мой бедный дружище! Такие ботинки! Непостижимо!

— Все система моей жены. Она идет в магазин и говорит: «Мне нужна пара ботинок для моего мужа. Недорогая. Нога моего мужа на столько-то длиннее моей и на столько-то, я думаю, шире. Эти подойдут, очень милы. Заверните». Старина! Ведь это просто ужасно!

— Со мной то же самое. Я одет в вещи, купленные по дешевке. И что за беда, если они мне малы? Зато дешево. Но, старина, как она готовит! Пальчики оближешь. Надо знать толк в пище, чтобы оценить, какое она сокровище по части кулинарии.

— Моя тоже. Бриллиант чистой воды среди поварих. Да что такое в конце концов одежда!

— Правда. Истинная правда! Ничто.

Несмотря на торговлю, организованную на фабриках, и единичные вспышки протеста, господство женщин, по всей вероятности, будет продолжаться.

ПАРИЖСКИЕ ШЛЯПКИ

«Торонто Стар Уикли», 18 марта 1922

ПАРИЖ. Парижские шляпницы наконец-то нашли применение английским воробьям. Шляпки с воробьями появились на Бульварах, и неприметная маленькая птичка заняла подобающее ей место.

Новые шляпки, как уверяют модистки, пользуются большим спросом. Это — коричневого цвета грибовидные штучки с ободком из чучел английских воробьев. Как будто воробушки уселись в гнезде. Всего их на голове 15 штук.

Несмотря на невероятные усилия шляпниц утвердить свое воробьиное создание, француженки пока стойко сопротивляются новой моде. Но кто знает, чем это кончится. Много времени потребовалось, чтобы ввести моду на обезьяний мех, а теперь только сами обезьянки могут положить конец этому веянию моды тем, что в конце концов исчезнут. Особую породу длинношерстных обезьян вывозят из Африки и Южной Америки, и она уже сейчас заметно становится редкостью. С воробьями во всяком случае подобное не случится.

АМЕРИКАНСКАЯ БОГЕМА В ПАРИЖЕ. ЧУДНОЙ НАРОД *

«Торонто Стар Уикли», 25 марта 1922

ПАРИЖ. Пена нью-йоркского квартала Гринич Вилледж была недавно снята большой шумовкой и перенесена в квартал Парижа, прилегающий к кафе «Ротонда». Конечно, на место старой пены там накопилась уже новая, но старая пена, плотная пена, самая пенистая пена перелестнула через океан и своими вечерними приливами

* Здесь и далее переводы И. А. Кашкина печатаются по тексту: И. А. К а ш к и н. Хемингуэй. «Прометей», т. 1. М., «Молодая гвардия», 1966 (прим. редакции).

сделала «Ротонду» самым притягательным для туристов пунктом Латинского квартала.

Странно выглядят и странно ведут себя те, что теснятся за столиками кафе «Ротонда». Все они так доби-ваются небрежной оригинальности костюма, что достиг-ли своего рода единообразной эксцентричности. Загля-нув впервые в высокий, продымленный под самый пото-лок, тесно заставленный столиками зал «Ротонды», ощу-щаешь примерно то же, что входя в птичий павильон зоологического сада. Оглушает потрясающий, зычный, многотембровый, пронзительный гомон, прорезаемый ла-кеями, которые порхают сквозь дым, как черно-белые сороки. За столиками полно — всегда полно; кого-нибудь оттеснят, и вокруг него толпятся, что-нибудь смахнут со стола, в вертящуюся дверь прихлынет еще порция посе-тителей, еще один черно-белый лакей прошмыгнет меж-ду столами к внутренней двери, и, выкрикнув заказ в его исчезающую спину, вы оглянитесь и начнете различать лица. За один вечер надо сгранициться лицезнением оп-ределенного числа посетителей «Ротонды». Набрав дос-таточную квоту, вы чувствуете, что вам надо уходить. Есть совершенно определенный момент, когда сознаешь, что ты нагляделся на завсегдатаев «Ротонды» и должен уйти. А чтобы в точности определить этот момент, попы-тайтесь одолеть кружку прокисшей патоки. Одни поймут, что дальше не могут уже с первого глотка. Другие будут упорствовать. Но для каждого нормального человека су-ществует в этом предел. Потому что те, что теснятся во-круг столиков кафе «Ротонда», воздействуют совершен-но определенным образом на средоточие всех чувств — на желудок.

В качестве первой дозы здешних индивидуальностей можно избрать низенькую плотную свежескрашенную блондинку с челкой, подстриженной на староголландский манер, с лицом, похожим на окорок, покрытый розовой эмалью, и толстыми пальцами из-под длинных шелковых рукавов платья, напоминающего китайский халат. Она сидит, изогнувшись, за столиком, курит сигарету в двух-футовом мундштуке, и ее плоское лицо лишено какого бы то ни было выражения.

Она тупо взирает на свой шедевр, который висит на-против на побеленной стене кафе вместе с тремя прибли-зительно тысячами других шедевров, выставленных для

обозрения посетителей «Ротонды». Ее шедевр — это нечто вроде розового расстегая, спускающегося по лестнице, и самовлюбленная, хотя и невыразительная, художница проводит обеденный и вечерние часы, сидя за этим столиком в благоговейном созерцании.

Окончив наблюдать художницу и ее творение, вы, слегка повернув голову, можете увидеть за столиком крупную пышноволосую женщину с тремя молодыми людьми. У крупной женщины живописная шляпа времён «Веселой вдовы», и она шутит и истерически хохочет. Трое молодых людей каждый раз подхватывают ее хохот. Официант приносит счет, крупная женщина платит, поправляет шляпу слегка дрожащими руками и уходит, сопровождаемая тремя молодыми людьми. В дверях она снова хохочет и исчезает. Три года назад она приехала с мужем в Париж из маленького городка в Коннектикуте, где они жили и где муж ее занимался живописью уже десять лет и со все возрастающим успехом. В прошлом году муж вернулся в Америку один.

Это всего две из тысячи индивидуальностей, теснящихся в «Ротонде». Здесь, в «Ротонде», вы найдете все, что ищете, — кроме серьезных художников. Беда в том, что посетители Латинского квартала, придя в «Ротонду», считают, что перед ними собрание истинных артистов Парижа. Я хочу во весь голос и с полной ответственностью внести поправку, потому что настоящие артисты Парижа, создающие подлинные произведения искусства, не ходят сюда и презирают завсегдатаев «Ротонды».

Их, как и многих других туристов, привела сюда обменная ставка 12 франков за доллар, и, когда восстановится нормальный обмен, им всем надо будет возвращаться в Америку. Почти все они бездельники, и ту энергию, которую художник вкладывает в свой творческий труд, они тратят на разговоры о том, что они собираются делать, и на осуждение того, что создали художники, получившие хоть какое-то признание. В разговорах об искусстве они находят такое же удовлетворение, какое подлинный художник получает в самом творчестве. Конечно, это приятное занятие, но они претендуют, что они-то и есть настоящие художники.

С того доброго старого времени, когда Шарль Бодлер водил на цепочке пурпурного омара по улицам древнего Латинского квартала, немного написано хороших

стихов за столиками здешних кафе. Даже и тогда, кажется мне, Бодлер сдавал своего омара там, на первом этаже, на попечение консьержки, отставлял закупоренную бутылку хлороформа на умывальник, а сам потел, обтачивая свои «Цветы зла», один, лицом к лицу со своими мыслями и листом бумаги, как это делали все художники и до и после него. Но у банды, обосновавшейся на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай, нет на это времени, они весь день проводят в «Ротонде».

ВОТ ОН КАКОЙ — ПАРИЖ!

«Торонто Стар Уикли», 25 марта 1922

ПАРИЖ. После того как хлопнет третья бутылка шампанского и джаз-банд доведет американского галантерейщика до такой экзальтации, что у него закружится голова от всего этого великолепия, — он, может быть, изречет тупо и глубокомысленно: «Так вот он какой — Париж!»

В его замечании будет доля правды. Да, это Париж. Париж, ограниченный гостиницей галантерейщика, ревю Фоли-Бержер и Олимпиа, прорезанный Большими бульварами, увенчанный Максимом и густо заляпанный ночными кабачками Монмартра. Это показной, лихорадочный Париж, собирающий большие доходы с развлекающегося галантерейщика и ему подобных, которые после соответствующей выпивки готовы платить за все любую цену.

Галантерейщик требует, чтобы Париж был сверх-Содомом и ультра-Гоморрой, и, как только алкоголь ослабит его врожденное скопидомство и цепкую хватку за бумажник, он готов платить за приобщение к своему идеалу. И это влетает ему в копеечку, потому что цены в парижских злочных местах, которые открываются около полуночи, таковы, что только спекулянт военного времени, бразильский миллионер или загулявший американец может выдержать их.

Шампанское, которое повсюду можно купить днем по 18 франков за бутылку, после 10 часов автоматически повышается в цене до 85 и даже до 150 франков. И все цены соответственно. Вечер, проведенный в фешенебельном дансинге, может облегчить бумажник иностранца

по крайней мере на 800 франков. А если искатель удовольствий захочет еще и поужинать, то хорошо, если счет уложится в 1000 франков. И все это будет сделано так изящно, что после первой бутылки он будет считать это для себя великой честью, пока утром не обнаружит, какой урон нанесен его банковскому счету. Начиная с шофера, который, подцепив американца у подъезда какого-нибудь фешенебельного отеля, автоматически подкручивает пять франков на счетчике, до последнего официанта в последнем из посещаемых им ресторанов, у которого нет сдачи меньше пяти франков, — обирание богатого иностранца, ищущего удовольствий, доведено до совершенства и может соперничать с искусством. Но беда в том, что турист, сколько бы он ни заплатил, никогда не видит того, что хотел бы увидеть.

Ему хотелось бы поглядеть на ночную жизнь Парижа, а ему преподносят специально подготовленное представление, исполняемое узким кругом скачующих, но хорошо оплачиваемых статистов, которое идет уже тысячи ночей и может быть названо «Околпачивание туриста». В то время как он покупает шампанское, слушает джаз-банд, где-то рядом живет своей жизнью Баль Мюзет*, куда апаши, тот самый народ, который, как ему кажется, он видит, заходят со своими подружками, сидят на длинных скамьях небольшой продымленной комнаты и танцуют под музыку аккордеониста, который отбивает ритм, притопывая подошвами.

В праздничные вечера в Баль Мюзет приходит барабанщик, но в обычные дни аккордеонист, который, подцепив к лодыжкам бубенчики и притопывая, сидит, раскачиваясь, на возвышении над танцевальной площадкой, сам по себе достаточно подчеркивает ритм танца. Посетителям Баль Мюзет не надо искусственного возбуждения в виде джаз-банды, чтобы заставить их танцевать. Они танцуют потехи ради, а случается, что потехи ради и обернут кого-нибудь, так как это и легко, и забавно, и прибыльно. А потому что они юные и озорные и любят жизнь, не уважая ее, они иногда наносят слишком сильный удар и стреляют слишком быстро, а тогда жизнь становится для них мрачной шуткой, ведущей к вертикальной машине, отбрасывающей тонкую тень и назы-

* Дешевый танцевальный зал.

ваемой гильотиной... Бывает, что туристу все же удается войти в соприкосновение с настоящей ночной жизнью. Спускаясь в винном угаре часа в два ночи с мирного холма по какому-нибудь пустынному переулку, он видит, как из-за угла появляются два отчаянных молодчика. Они вовсе не похожи на ту лощеную публику, которую он только что покинул. Те двое оглядывают улицу, нет ли поблизости ажана, а потом они подходят ближе, и все, что он помнит, — это внезапный ошеломляющий удар.

Это его хватили по уху куском свинцовой трубы, завернутой в номер газеты «Матэн». И вот турист, наконец, входит в соприкосновение с настоящей ночной жизнью, на поиски которой он потратил столько денег.

— Двести франков? Экая свинья! — говорит Жан в темноте подвала при свете спички, которой Жорж чиркнул, чтобы обследовать содержимое бумажника.

— В Мулэн Руж его небось еще не так обчистили.

— Mais oui, топ vieux *. А голова у него утром все равно болела бы, — говорит Жан. — Пойдем потанцуем, что ли.

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРЕВОЛЮЦИЯ

«Торонто Дейли Стар», 13 апреля 1922

ГЕНУЯ. ...Некоторые области Италии, особенно Тоскана и северные провинции, уже пережили в последние месяцы кровавую борьбу, убийства, репрессии и напряженные бои для подавления коммунистов. Итальянские власти поэтому боятся того воздействия на красную Геную, которое может оказать появление восьмидесяти представителей Советской России, их дружелюбный прием и проявленное к ним уважение.

Можно не сомневаться, что красные генуэзцы — а они составляют примерно треть населения — встретят красных русских слезами, приветствиями, объятиями, будут угощать их вином, ликером, плохими сигаретами, будут парадировать, кричать «ура» и на все лады выражать друг перед другом и перед всем светом свои симпатии, как это свойственно итальянцам. Они будут обниматься и целоваться, устраивать сборища в кафе, пить за здоровье Ленина, кричать в честь Троцкого, каждые две-три

* Вот именно, дружище (фр.).

минуты три-четыре красных вожака будут пытаться склотить демонстрацию, и будет поглощено неимоверное количество кьянти под дружные крики «Смерть фашистам!». ...На этом все кончается, если, конечно, они не встретят фашистов. В этом случае дело принимает совсем другой оборот. Фашисты — это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской... Набраны они из молодых экс-ветеранов с целью защитить существующее правительство от всякого рода большевистских заговоров и агрессий. Короче говоря, это контрреволюционеры, и в 1920 году это они подавили красных бомбами, пулеметами, ножами и щедрым применением керосиновых бидонов, чтобы поджигать места красных митингов, и тяжелыми окованными железом дубинками, которыми они мозжили головы красных, когда те пытались выскочить.

Фашисты действовали с совершенно определенной целью и уничтожали все, что могло грозить революцией. Они пользовались если не активной поддержкой, то молчаливым одобрением правительства, и не подлежит никакому сомнению, что именно они сломали красных. Но они привыкли к безнаказанному беззаконию и убийству и считали себя в праве бесчинствовать, где и когда им вздумается. И теперь для мирной Италии они представляют почти такую же опасность, какой когда-то были красные...

...Фашисты не делают различия между социалистами, коммунистами, республиканцами или кооператорами. Для них все они — красные и опасные смутьяны.

Так вот, фашисты, прослышав про митинг красных, напяливают на голову свои длинные черные фески с кисточками, опоясываются окопными кинжалами, запасаются в своей фасции гранатами и боеприпасами и направляются на место митинга красных, распевая фашистский гимн «Джовенецца». Фашисты — это по преимуществу молодежь, они энергичны, грубы, пылки, подчеркнута патриотичны, по большей части красивы юношеской красотой южан и твердо убеждены в своей правоте. Они в избытке обладают доблестями и нетерпимостью молодости. Маршируя строем, фашисты наталкиваются на трех красных, малюющих мелом свои лозунги на одной из высоких стен узкой улочки. Четверо юнцов в черных фесках хватают красных, и в свалке одного из фашистов

закалывают. Тогда остальные приканчивают своих пленных и, разбившись на тройки и четверки, начинают обшаривать весь квартал в поисках красных. Если красный подстреливает одного фашиста из окна верхнего этажа, тогда фашисты начисто сжигают весь дом. Каждые две-три недели в газете публикуются сводки. Обычно бывает от 10 до 15 убитых красных и от 20 до 50 раненых. А фашистов не более 2—3 убитых и раненых. Уже более года идет в Италии эта беспорядочная партизанская война. Очередное крупное сражение произошло несколько месяцев назад во Флоренции, но с тех пор были вспышки помельче.

ДВЕ РУССКИЕ ДЕВУШКИ — САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ В ЗАЛЕ*

«Торонто Дейли Стар», 24 апреля 1922

ГЕНУЯ. Галерея прессы постепенно заполняется, британские и американские корреспонденты закуривают и называют друг другу имена запоздавших делегатов, которые, кланяясь, спешат на свои места от входной двери. Первыми появляются поляки и сербы, потом валит целая толпа с ведерными цилиндрами в руках...

Киношники пристроили камеру под носом одного из генуэзских героев, который взирает на нее из своей ниши с ледяным, мраморным неодобрением. Архиепископ Генуэзский в рясе винного цвета и красной шапочке беседует со старым итальянским генералом, лицо у генерала как печеное яблочко и на груди пять нашивок за ранение. Старик — это генерал Гонзахо, командир кавалерийского корпуса. Со своими свисающими усами, сморщенным личиком он смахивает на добродушного Аттилу. В зале шумно, как на приеме. Журналисты набились на галерею: мест здесь всего 200, а желающих попасть 750, и опоздавшие стараются как-нибудь устроиться на ступеньках. Зал уже почти полон, когда входит британская делегация. Они прибыли в автомобилях, мимо выстроенных вдоль улиц солдат, и входят эффектно. Это лучше всех одетая делегация...

Вальтер Ратенау, человек с лицом ученого и лысее которого нет никого на конференции, входит сопровож-

* Корреспонденции, помеченные звездочкой, печатались в «Прометее» без заглавий. Перевод заглавий сделан по книгам: «The Wild Years», N. Y., 1962 и «By-Line: Ernest Hemingway», N. Y., 1967.

даемый доктором Виртом, германским канцлером, у которого вид музыканта, играющего на тубе в каком-нибудь немецком оркестре. Они размещаются чуть ниже за тем же длинным столом. Ратенау — типичный социалист из богачей и считается самым способным человеком в Германии...

Все в сборе, не хватает только русских. Зал переполнен и изнемогает от жары, а четыре кресла советской делегации все еще пусты, и кажется, что таких пустых кресел я еще не видывал в жизни. Все гадают, придут ли они вообще. Наконец они входят и начинают пробираться сквозь толпу. Ллойд Джордж пристально вглядывается в них, придерживая пальцем свои очки.

Впереди Литвинов, у него большое ветчинно-красное лицо. На груди большой красный прямоугольный значок. За ним идет Чичерин — неопределенное выражение лица, непонятного вида борода и нервные руки. Они моргают, ослепленные люстрой. За ним Красин. Ничем не примечательное лицо, тщательно подстриженная ван-дейковская борода и вид преуспевающего дантиста. Последним Иоффе. У него длинная узкая лопатообразная борода и очки в золотой оправе. Русских сопровождает масса секретарей, среди них две девушки. У них чудесный цвет лица, стрижка по моде, введенной Ирэн Касл, и элегантные костюмы. Они без всякого сравнения самые привлекательные девушки во всем зале.

Русские занимают места, кто-то свистом призывает к тишине, и сеньор Факта начинает скучнейший тур речей, которыми открывается конференция.

СУДЬБА РАЗОРУЖЕНИЯ*

«Торонто Дейли Стар», 24 апреля 1922

ГЕНУЯ. При открытии Генуэзской конференции имела место сенсация, которая превзошла вашингтонскую речь государственного секретаря Хьюза о нормировании морских вооружений. Но произошло это, когда все запланированные речи уже были отбарабанены и большинство газетчиков покинуло зал, чтобы передать на телеграф свои заранее подготовленные отчеты об открытии.

* Заглавие взято из «Литературной газеты», 1963, 16 ноября, где была впервые опубликована эта корреспонденция.

Внезапно надышанный толпой воздух зала, где в продолжение четырех часов не смолкали речи, прорезал словно электрический разряд. Глава советской делегации Чичерин с его наружностью деревенского бакалейщика, встрепанной непонятной бородой и свистящим мурлыканьем в голосе, которое почти невозможно было понять с галерен для прессы, — так вот, Чичерин только что вернулся на свое место за зеленым прямоугольником столов.

«Есть еще желающие выступить?» — спросил по-итальянски синьор Факта, председательствующий на конференции...

Возглавляющий французскую делегацию мосье Барту вскочил и разразился кипучим потоком слов. Барту ходит вразвалку, но говорит он со страстной силой и горячностью французского оратора.

Внезапно скучную, сонную атмосферу этого душного зала словно прорезала летняя молния. Корреспонденты, которые осовело сидели на галерее, вдруг бешено заработали карандашами. Делегаты, которые ждали, откинувшись в креслах, закрытия заседания, напряженно вытянулись, стараясь не упустить ни слова. Рука Чичерина на столе задрожала, а Ллойд Джордж начал что-то машинально чертить на листе бумаги.

Все газетные «умники» уже покинули зал сразу после речи Чичерина. Остались те немногие, которые считают, что видели игру, только если оставались до последнего судейского свистка.

Барту кончил говорить, и переводчик, который обслуживал все конференции, начиная с первой сессии Лиги наций, начал звонким голосом перевод на английский язык: «Если этот вопрос о разоружении будет поднят, Франция абсолютно, категорически и окончательно отказывается обсуждать его как на пленарных заседаниях, так и в любом комитете. От имени Франции я заявляю этот решительный протест».

Переводчик продолжал переводить речь. Вот и конец.

Чичерин встал, руки у него дрожали. Он заговорил по-французски своим странным свистящим выговором, последствием несчастного случая, стоившего ему половины зубов. Толмач звонким голосом переводил. В паузах не слышно было ни звука, кроме позвякивания массы орденов на груди какого-то итальянского генерала, когда тот переступал с ноги на ногу. Это не выдумки.

Можно было различить металлический звяк орденов и медалей.

«Что касается разоружения, — переводил толмач, — то Россия понимает позицию Франции в свете речи мосье Бриана в Вашингтоне. В ней он заявил, что Франция должна остаться вооруженной из-за опасности, создаваемой большой армией России. Я от имени России хочу снять эту опасность.

По вопросу о преемственности конференций я только цитирую речь Ллойд Джорджа в Британском парламенте. Мосье Пуанкаре сказал, что цели Генуэзской конференции не были четко ограничены. Здесь поднято несколько вопросов для дискуссии, которых не было в повестке, выработанной в Каннах. Если коллективная воля конференции решит, что вопрос о разоружении не должен обсуждаться, я склонюсь перед волей конференции. Но разоружение — это капитальный вопрос для России».

Переводчик сел, поднялся Ллойд Джордж. Конференция была взбудоражена. Казалось, что французы могут в любой момент покинуть зал. Ллойд Джордж, величайший мастер компромисса, старался протянуть время. В своей вкрадчивой манере он убеждал Чичерина не перегружать корабль Генуи чрезмерным грузом дискуссионных вопросов. «Если Генуэзская конференция не приведет к разоружению — это будет ее неудачей, — сказал он. — Но надо подготовиться. Сначала надо решить другие вопросы. Пусть мистер Чичерин не беспокоится. Но приведем сначала наш корабль в гавань, прежде чем пускаться в новое путешествие. Я предлагаю пока не поднимать вопроса о всеобщей конференции». И так в ожидании перерыва он говорил долго, пытаясь этим спасти конференцию от срыва.

«Повестка Генуэзской конференции была выпущена на двух прекраснейших языках мира — английском и французском!» — сказал он по ходу своей клочковатой и примирительной речи, мастерски проливавшей бальзам на умы большинства делегатов. Но при этой обмолвке итальянцы нахмурились, и результат предыдущих изысканнейших комплиментов Ллойд Джорджа по их адресу был в значительной мере подорван.

И вот, наконец, синьор Факта закрывает заседание, решительно прерывая Барту и Чичерина, которые попытались говорить.

«Кончено. Вы уже выступали. Надо кончать!» И конференция была спасена от того, чтобы быть сорванной в первый же ее день.

МНОГО ФОРЕЛИ В РОНСКОМ КАНАЛЕ

«Торонто Дейли Стар», 10 июня 1922

ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. Днем в Ронской долине веет легкий ветерок с Женевского озера. Тогда удишь вверх по течению, и ветерок дует тебе в спину, солнце печет затылок, высокие белые горы стоят по обеим сторонам зеленой долины, а муха закидывается очень хорошо и очень далеко, проплывая по поверхности воды под выступы берега маленького ручья шириной не больше ядра, с течением быстрым и бесшумным, который называется Ронским каналом.

Вот так однажды я поймал форель. Она, наверное, очень удивилась, увидев странную муху, и клюнула из озорства, но крючок вонзился в нее, и форель, дважды подпрыгнув, с достоинством описывала зигзаги к каждому островку водорослей на дне ручья, пока я не отвел ее на берег.

Это была очень красивая форель, и я не мог не смотреть на нее и оставил ее почти незавернутой. День в конце концов стал таким жарким, что я уселся под сосной на берегу, совсем развернул форель и, поедая вишни из кулька, который принес с собой, принялся читать намокшую от форели «Дейли Мейл». День был очень жаркий, но, глядя через зеленую однообразную долину за рядами деревьев, обозначивших путь Роны, я мог наблюдать, как падает поток с бурой поверхности горы. Он шел от ледника, спускавшегося по склону горы к маленькому городку с четырьмя серыми домами и тремя серыми церквями. Водопад казался твердым, пока не заметишь, что он движется. Тогда он становился прохладным и мерцающим, и я думал о том, кто живет в этих четырех домах и кто ходит в эти три церкви с острыми каменными шпилями.

А если дождешься, когда солнце уйдет за большой хребет Савойских Альп, туда, где Франция встречается со Швейцарией, ветер в Ронской долине меняется, и уже

прохладный ветерок падает с гор и дует вниз по течению реки в сторону Женевского озера. Когда дует этот ветерок, и солнце заходит, и огромные тени ползут с гор, и по дороге гонят коров, и слышен звон их колокольчиков, удишь вниз по течению реки.

Над водой уже мошкара не вьется тучами, и то и дело большая форель всплывет на поверхность, и у самого берега, где деревья низко свесились над водой, раздастся всплеск. Ты слышишь всплеск, оглядываешься назад вверх по течению и видишь круги там, где прыгнула рыба. Тогда приходит время завернуть форель в последнюю речь лорда Нортклиффа *, воспроизведенную слово в слово, или в сообщении о неизбежном распаде коалиции, или же в пикантную историю о весельчаке герцоге и серьезной вдове, и, оставив дело Боттомли **, чтобы почитать в поезде на обратном пути, кладешь газету с форелью в карман пиджака. Много форели водится в Canal du Rhone, и когда солнце ушло за горы, и удишь вниз по течению, и дует вечерний ветерок, именно тогда она хорошо идет.

Удишь не спеша у самого берега, стараясь не попасть в ивняк или в сосны, что растут чуть повыше, на границе старого русла, и, откинувшись назад, забрасываешь удочку в облюбванное место. Если ты везучий, то рано или поздно на воде появятся круги или двойные круги, когда форель клюет, промахивается и опять клюет, а потом древний извечный трепет охватывает тебя, потому что удочка погружается и форель судорожно мечется, кружится, перерезая течение, выстреливает в воздух. Таковую борьбу затевает любая большая форель независимо от страны, в какой она водится. Это — прозрачный ручей, и нет тебе прощения, если упустишь форель, когда она уже на крючке, и ты утомляешь ее, ведя ее против течения, а как только блеснет белое брюшко, осторожно отводишь ее к берегу, придерживая поводок рукой.

Хорошо пройтись в Эгль. Вдоль дороги стоят конские

* Английский газетный магнат, создатель массовой прессы, основатель газет «Дейли Мейл» и «Дейли Миррор».

** Член английского парламента, редактор шовинистического журнала «Джон Буль», прославился своими демагогическими речами. Он попал в тюрьму на семь лет за растрату общественных денег.

каштаны с цветами, похожими на восковые свечи, а воздух теплый от раскаленной солнцем земли. Дорога белая и пыльная, и я представил себе великую армию Наполеона, марширующую по ней сквозь белую пыль к Сен-Бернарскому перевалу в Италию. Вестовой Наполеона вставал, наверное, на восходе солнца и тайком выуживал форель, а может быть, и парочку форелей из Роны на завтрак маленькому капралу. А до Наполеона римляне проходили по этой долине и проложили эту дорогу, и какие-нибудь швейцарцы из строительной бригады тоже тайком убегали из лагеря вечером, чтобы поймать форель покрупнее где-нибудь в заводи под ивняком. Во времена римлян форель, возможно, не была такой пугливой.

Я шел в Эгль по прямой белой дороге в темноте наступившего вечера и думал о великой армии, о римлянах и о гуннах, легких и быстрых, и о том, что и у них, должно быть, находилось время исследовать этот ручей до рассвета, и не заметил, как очутился в Эгле. Это очень приятное местечко. Я никогда не видел самого города. Он разбросан по склону горы. Но там у станции есть кафе с золотой лошадкой на крыше и террасой из дикого винограда, густого и тенистого, с толстым, как у молодого дерева, стволом и с пурпурными гроздьями, вокруг которых целый день вьются пчелы и которые блестят после дождя. Кафе с зелеными столиками и стульями и с семнадцатипроцентным темным пивом. Пенящееся пиво подается в высоких стеклянных кружках и стоит сорок сантимов, а девушка улыбается и спрашивает вас о жите-бытье. Поезда там ходят с интервалом по крайней мере в два часа, и те, кто ждет их в станционном буфете — кафе с золотой лошадкой и террасой из дикого винограда — это станционный буфет, заметьте, — мечтают, чтобы поезда вообще не приходили.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ

«Торонто Дейли Стар», 24 июня 1922

Бенито Муссолини, вождь фашистского движения, сидит за своим столом у запального шнура гигантской пороховой бочки, которую он подложил под Северную и Центральную Италию, и почесывает за ухом щенка-вол-

кодава, играющего бумагой на полу у его большого стола. Муссолини — крепкий, плотный мужчина с загорелым лицом, высоким лбом и лениво улыбающимся ртом. У него большие, выразительные руки.

— Теперь фашисты представляют силу в полмиллиона человек, — сказал он мне. — Мы — политическая партия, построенная по принципу военной организации.

Говорил он по-итальянски, медленно, подбирая слова, чтобы быть уверенным, что я его понимаю. Он сказал, что у фашистов есть 250-тысячная армия, сформированная из отрядов «самисе пеге», или чернорубашечников, — ударная сила политической партии.

— У гарибальдийцев были красные рубашки. — В его улыбке — пренебрежение.

— Мы организовались не для того, чтобы угрожать итальянскому правительству. Мы не против закона, — пояснял Муссолини, откинувшись на спинку своего редакторского кресла, осторожно акцентируя слова и подчеркивая важные положения движением больших загорелых рук. — Но у нас, — пояснял он так же медленно и осторожно, — достаточно сил, чтобы сбросить любое итальянское правительство, которое только осмелится выступить против нас или попытается нас уничтожить.

— А Гвардия Региа как же? — спросил я. (Так называются войска, недавно сформированные на юге Италии бывшим премьером Нитти в целях предотвращения гражданской войны.)

— Гвардии Ригии никогда не побить нас! — ответил Муссолини.

Ситуация, сложившаяся в Италии, требует некоторых пояснений и сравнений. Платформа фашистов — крайний консерватизм. Представьте себе, что 250 тысяч членов консервативной партии Канады вооружены, т. е. представьте «политическую партию, построенную по принципу военной организации», глава которой не скрывает, что у нее достаточно сил, чтобы сбросить либеральное, а впрочем, и любое другое правительство, посмевшее выступить против нее. Не правда ли, внушительная картина? К тому же представьте, что создана специальная военная полиция для того, чтобы препятствовать уличным столкновениям между консерваторами и либералами, и у вас будет правильный угол зрения на современное политическое положение в Италии.

Встреча с Муссолини принесла некоторые неожиданности. Он не такое чудовище, каким его принято изображать. У него типичное лицо берсальера, овальной формы, смуглое и большое, темные глаза и огромный, лениводвигающийся рот. Муссолини часто называют «ренега-том-социалистом», но у него, кажется, были все основания выйти из партии.

Он родился тридцать семь лет тому назад в Романье, в маленьком городишке Форли, в самом очаге революции. Недалеко от его родных мест произошла революция 1913 года, во время которой Малатеста, известный итальянский анархист, пробовал установить республику. Муссолини начал свой жизненный путь школьным учителем, когда ему не было двадцати. Потом он занялся журналистикой и сделал первые многообещающие шаги как соратник Чезаре Батисти в газете «Либерта» в Тренто. Чезаре Батисти — национальный герой Италии. Он раненым попал в плен к австрийцам (был альпийским офицером) и был повешен в замке Тренто, потому что родился в области Италии, находившейся под властью Австрии.

Когда в 1914 году началась война, Муссолини был редактором «Аванти», ежедневной социалистической газеты в Милане. Он так рьяно выступал за участие Италии в войне на стороне союзников, что хозяин газеты вынужден был отказаться от его услуг, и Муссолини основал собственную газету «Иль пополо д'Италия», чтобы продолжать развивать свои идеи. Он спустил все деньги на это предприятие, и, как только Италия вступила в войну, записался рядовым в отборные полки берсальеров.

Тяжело раненный при Карсо, несколько раз награжденный за храбрость и патриот к тому же, Муссолини понял, что все что он считал плодами победы Италии в войне, начинает исчезать под сильным напором коммунизма, распространившегося в 1919 году на всю Северную Италию и угрожавшего интересам частной собственности. В противовес этому он создал фашистские, или антикоммунистические, штурмовые отряды. О его деятельности в последующие два года достаточно много писалось.

В настоящее время Муссолини стоит во главе организации, насчитывающей 500 тысяч членов. В нее входят представители почти всех профессий Италии... Таким

образом, фашизм переживает третью стадию своего развития. Первой была организация контратак против коммунистических демонстраций, второй — создание партии, и, наконец, теперь это — политическая и военная партия, которая вербует рабочих и прибирает к рукам деятельность профсоюзов. Она господствует от Рима до Альп.

Естественно, напрашивается вопрос, как намерен Муссолини, сидящий за своим столом в редакции «Иль пополо д'Италия» и почесывающий за ухом щенка-волкодава, употребить свою «политическую партию, построенную по принципу военной организации»?

БОЛЬШОЙ «АПЕРИТИВНЫЙ» СКАНДАЛ

«Торонто Стар Уикли», 12 августа 1922

ПАРИЖ. Большой «аперитивный» скандал, который будоражит в настоящее время весь Париж, подорвал основы одного из излюбленных обычаев Франции.

Аперитив, или возбуждающий аппетит напиток яркого красного или желтого цвета, обычно наливается из двух-трех бутылок спешащим официантом за час до обеда, когда весь Париж собирается в кафе и отравляет себя в веселом предвкушении пищи. Аперитивы — патентованные смеси, содержат большой процент алкоголя и по вкусу мало чем отличаются от вкуса медных дверных ручек. Они известны под названиями Амурет, Анис Деллосо, Амер Пикон, Бир, Томмисет и еще двадцати других. Сейчас аперитивы процветают в Париже, как новые сигареты в Торонто. Все дело в рекламе и в числе жаждущих попробовать чего-нибудь новенького.

Первый скандал произошел, когда полиция обнаружила, что абсент, запрещенный шесть лет тому назад, продается на всех перекрестках под названием Анис Деллосо. Вместо того чтобы быть прекрасного зеленого цвета, воспетого второстепенными поэтами до самых сухих уголков вселенной, абсент превратился в массовую продукцию бледно-желтого сиропа. Тем не менее он по-прежнему отдавал лакрицей, при смешении с водой становился молочно-белым и обладал реакцией замедленного действия, возбуждая в завсегдатае Бульваров же-

лание вскочить на свою новую соломенную шляпу и в экстазе прыгать уже после третьего Деллосо.

Достаточно было одного ликующего крика на Бульварах, как через несколько дней реклама из «уст в уста» сделала Анис Деллосо самым популярным напитком в городе. Все это продолжалось до тех пор, пока полиция не запретила производство абсента.

Анис Деллосо производится и в настоящее время. У него все тот же лакричный привкус, но завсегдатай Бульваров напрасно ждет того ощущения, которое возбуждало в нем желание протанцевать шимми на Эйфелевой башне. Ибо это уже не абсент.

Большой же «аперитивный» скандал связан с 14 июля. День взятия Бастилии — великий национальный праздник Франции. В этом году он начался в среду ночью, тринадцатого июля, и продолжался, не ослабевая, весь день четверга, всю ночь четверга, весь день пятницы, всю ночь пятницы, весь день субботы, всю ночь субботы, весь день воскресенья, всю ночь воскресенья. Большие учреждения, магазины, банки были закрыты с полдня среды до второй половины дня понедельника. Для того чтобы хоть как-нибудь воздать должное этому торжеству, понадобилось бы восемь колонок петита.

Через каждые два квартала шло народное гулянье с танцами. Улицы были украшены цветными фонарями, флагами, играла музыка, предоставленная муниципалитетом. Все это звучит мирно и спокойно, но на самом деле было далеко не так. Было отдано распоряжение, запрещающее перемещение автобусов и такси по улицам, где шло гулянье. И в результате в городе не было никакого транспорта.

Оркестр на улице под нашей квартирой состоял из аккордеониста, двух барабанщиков, трубача и корнетиста. Эти четыре мужественных и неутомимых человека сидели в фургоне, установленном на винных бочках под сенью наломанных веток, как я полагаю, в соседнем парке. И в этой тенистой беседке они сидели, пили, ели и, сменяя друг друга за инструментами, играли с девяти вечера до восьми утра следующего дня, а толпа все прыгала и скакала в польке!

Так продолжалось четверо суток подряд, в течение которых жители квартала днем уходили немного вздремнуть, а все остальное время толклись на улице, танцуя.

Надо было видеть, как эти двадцать-тридцать пар лихо отплясывали в семь утра, протанцевав всю ночь. Здесь были не студенты, или художники, или какие-нибудь им подобные безумцы, заметьте, а продавщицы, мясники, пекари, рабочие, кондукторы трамваев, прачки, букмекеры. Веселье было грандиозное и оно не могло держаться на воде.

Займемся же «аперитивным» скандалом. Правительство опустило миллионы франков на празднование. Считалось, что деньги были израсходованы разумно — на поощрение патриотических настроений. Повсюду развевались национальные флаги, беспрерывно вспыхивали фейерверки, а в Лонгшампе в восемь утра состоялся пышный военный парад. Его посетили тысячи людей, которые, протанцевав всю ночь, пришли отсыпаться на траве. Невменяемый молодой радикал в последней стадии туберкулеза выстрелил в префекта полиции, приняв его за Пуанкаре, и патриотически настроенная толпа растерзала его. Совершенно очевидно, что жизнь Пуанкаре была спасена исключительно благодаря 14 июля. Разве после такой ночи, какую провел Париж, можно было попасть в цель? Это было великолепное празднество.

Скандал заключался в том, что над головами музыкантов, там, где правительство вывесило флаги, истратив деньги на музыку и украшение, появились огромные полотнища, рекламирующие различные сорта аперитива. Так, в одном квартале можно было видеть прикрытый трехцветным флагом плакат: «Пейте Амурет!» В другом народ отплясывал в экстазе патриотизма под лозунгом: «Да здравствует Анис Деллосо — самый лучший аперитив в мире!»

Никто, казалось, не замечал этих вывесок на протяжении всех четырех вечеров, но, как только танцы закончились, последовал приказ начать большое расследование с целью выяснить, на каком основании правительство, истратив свыше двух миллионов франков, предоставило такую широкую рекламу производителям аперитивов. Несколько ведущих газет выступило против подобного празднования 14 июля в будущем. Настоящий скандал происходит сейчас в Париже, и расследование по поводу появления реклам аперитивов все еще продолжается.

ПЕРЕЛЕТ ИЗ ПАРИЖА В СТРАСБУРГ

«Торонто Дейли Стар», 9 сентября 1922

СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. Мы сидели в самом дешевом ресторане из всех дешевых ресторанов на вульгарной и крикливой улице де Пти Шамп в Париже.

Мы — это миссис Хемингуэй, Уильям Э. Нэш, младший брат мистера Нэша и я сам. Мистер Нэш объявил где-то между омарами и жареной рыбой, что он завтра уезжает в Мюнхен и собирается лететь из Парижа в Страсбург. Миссис Хемингуэй размышляла над его сообщением до появления почек в соусе из шампиньонов и потом сказала: «Почему мы никуда не летим? Почему всегда кто-то другой летит, а мы вечно сидим дома?»

Это был один из тех вопросов, на который нельзя ответить словами, и потому я пошел вместе с мистером Нэшем в контору Франко-румынской авиакомпании и купил два билета для журналистов за полцены в один конец из Парижа в Страсбург, заплатив сто двадцать франков. Экспрессом из Парижа в Страсбург десять с половиной часов, а самолетом — два с половиной часа.

Охватившее меня уныние ввиду предстоящей поездки начало было рассеиваться, но как только я узнал, что мы летим над Вогезами и должны быть у дверей агентства на улице Оперы в пять утра, оно опять значительно усилилось. Слово «румынский» в названии компании тоже действовало не очень-то ободряюще, но служащий за конторкой уверял меня, что у них нет румынских пилотов.

На следующее утро, ровно в пять, мы были в агентстве. Для этого мы должны были встать в четыре, собраться, одеться и разбудить владельца единственного поблизости такси, в темноте барабаня в его дверь. Владелец этого единственного такси подрабатывает по ночам в Баль Мюзет игрой на аккордеоне, и пришлось довольно долго барабанить в дверь, чтобы его разбудить.

Пока таксист менял крышку, мы болтали на улице с парнем, который держит *charcuterie** на углу. Он встал встретить молочника. Лавочник сделал нам пару бутербродов, рассказал, что во время войны служил в авиа-

* Мясная лавка (фр.).

ции, и спросил меня о первых результатах скачек в Энгьене. Таксист пригласил нас к себе в дом выпить чашку кофе, предупредительно спросив, не желаем ли мы белого вина, и, согретые кофе, пережевывая бутерброды, мы с ветерком покатали по пустынным, серым, утренним улицам Парижа.

Нэши уже ждали нас в агентстве, приволочив на себе два тяжеленных чемодана, потому что у них не было знакомого шофера. Вчетвером мы поехали в большом закрытом лимузине в Бурже — самая неинтересная поездка, какую можно сделать по Парижу, — и в павильончике на летном поле выпили еще по чашке кофе. Француз в промасленном свитере взял наши билеты, разорвал их пополам и сказал, что мы полетим в двух разных самолетах. Они были видны из окна павильончика, маленькие, серебристые, аккуратные и сверкающие в лучах раннего солнца. Мы были единственными пассажирами.

Наш чемодан втокнули под сиденье рядом с местом пилота. Мы вскарабкались по двум ступенькам в душную тесную кабину, механик дал нам ваты заткнуть уши и запер дверцу. Пилот залез на свое сиденье позади нашей закрытой кабины, механик дернул пропеллер вниз, и мотор заревел. Я оглянулся на пилота. Это был маленький коренастый человек в кепке, надетой задом наперед, в промасленной овчинной куртке и больших перчатках. Самолет сначала побежал по земле, подскакивая, как мотоцикл, а потом медленно поднялся в воздух.

Мы взяли курс почти прямо на восток от Парижа, уходя все выше и выше в небо, точно мы сидели в лодке, которую медленно поднимал великан, а земля под нами становилась плоской. Казалось, что она расчерчена на бурые квадраты, желтые квадраты, зеленые квадраты и на большие плоские зеленые пятна леса. Я начал понимать живопись кубистов.

Иногда мы спускались так низко, что видели велосипедистов на шоссе, крутившихся точно монетки по белой узкой ленте. А когда мы опять набирали высоту, весь ландшафт сжимался. Все время нас опоясывала дымка пурпурного горизонта, делавшая землю скучной и неинтересной. Все время не прекращался стреляющий рев мотора, и все время мы смотрели вперед в щелевидные окошки на землю, а позади видели открытую кабину, широкую переносицу пилота, его овчинную шкуру, кото-

рая двигалась вместе с грязной перчаткой, перемещавшей рычаг то в одну сторону, то в другую, то вверх, то вниз.

Мы летели над огромными лесами, мягкими, как бархат, над Бар-ле-Дюк и Нанси, серыми городами с красными крышами, над Сент-Мийелем и над бывшей линией фронта, и в открытом поле я увидел старые траншеи, зигзагами бороздящие поле, изуродованное воронками артиллерийских снарядов. Я окликнул миссис Хемингуэй, чтобы она посмотрела вниз, но она не услышала меня. Ее подбородок покоился в воротнике нового мехового пальто, которое она хотела обновить поездкой на самолете. Она крепко спала. Пять часов было слишком рано для нее.

Над линией фронта 1918 года мы попали в грозу, что заставило пилота спуститься очень близко к земле, и мы полетели, придерживаясь канала, видневшегося внизу сквозь сетку дождя. Потом после бесконечного простора скучного и однообразного ландшафта мы пересекали Вогезы, и они, казалось, встали, чтобы приветствовать нас, и мы полетели дальше над лесистыми горами, то возникшими, то пропадавшими под нами в пелене дождя.

Самолет набрал высоту и вышел из грозы к яркому солнцу, и мы увидели направо от себя скучную, очерченную деревьями мутную ленту Рейна. Мы поднялись еще выше, сделали поворот влево, а потом долгий прекрасный вираж вниз, так что сердце замерло, как при спуске на лифте, и когда мы были уже над самой землей, резко взмыли еще раз вверх, потом нырнули еще раз вниз, и колеса нашего самолета коснулись земли, подпрыгнули, и мы с треском покатали по гладкому полю к павильончику, совсем как на мотоцикле.

Там стоял лимузин, готовый доставить нас в Страсбург. А мы пошли в павильончик для пассажиров, чтобы дожидаться второго самолета. Официант спросил нас, не собираемся ли мы продолжить наш путь в Варшаву. Все было неожиданно и очень приятно. Раздражал только запах касторки из мотора. Но потому, что самолет был маленький и очень быстрый, и потому, что мы летели рано утром, нас не укачало.

— Когда у вас была последняя катастрофа? — спросил я официанта.

— В середине июля, — сказал он, — погибло трое.

В то же самое утро на юге Франции медленно ползущий поезд сорвался с вершины крутого подъема, врезался в другой поезд, поднимавшийся вверх, и разнес в щепки два вагона. Погибло свыше тридцати человек. После июльской катастрофы наступил резкий спад в работе авиалинии Париж—Страсбург. Но число пассажиров, пользующихся услугами железной дороги, остается прежним.

СПОСОБ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ

«Торонто Дейли Стар», 19 сентября 1922

КЕЛЬ. ГЕРМАНИЯ. Парень в страсбургском транспортном агентстве, куда мы пошли получить некоторые разъяснения о том, как перебраться через границу, сказал:

— Попасть в Германию очень просто. Для этого вам надо перейти мост.

— Разве нам не нужна виза? — спросил я.

— Нет. Только разрешение французов на выезд из Страсбурга. И он вынул из кармана свой паспорт и показал нам страницу, заляпанную штампами.

— Видите? Я теперь живу там, потому что так значительно дешевле. Это — способ делать деньги.

Итак, все в порядке. Три милч на трамвае от центра Страсбурга до Рейна, и вы на конечной остановке, где обрывается линия и все пассажиры высыпают из вагонов и направляются к длинному обнесенному частоколом проходу, ведущему к мосту. Французский солдат с винтовкой слоняется по дороге и из-под синего стального шлема разглядывает девушек в проходе. На левой стороне моста стоит уродливое кирпичное здание таможи, а на правой — деревянный сарай, где французский чиновник сидит за конторкой и штампует паспорта.

Рейн, быстрый, желтый и грязный, течет между низких зеленых берегов и бурлит вокруг цементных свай длинного металлического моста. По другую сторону моста виден уродливый маленький городишко Кель, напоминающий унылый район Дандес в Торонто.

Если вы французский подданный с французским паспортом, чиновник за конторкой просто ставит в ваш

паспорт штамп «sortie Pont de Kehl»*, и вы шагаете по мосту в оккупированную Германию. Если вы гражданин какой-нибудь другой союзнической державы, чиновник подозрительно смотрит на вас, спрашивает, откуда вы, что собираетесь делать в Келе и как долго там намерены пробыть, а потом уже штампует ваш паспорт тем же «sortie». Но если вы житель Келя, ездили в Страсбург по делам и возвращаетесь домой к обеду (а интересы Келя связаны с интересами Страсбурга, как, впрочем, любого предместья с городом, и вы вынуждены ездить в Страсбург по делам, если у вас вообще есть какие-нибудь дела), то вас продержат в очереди пятнадцать-двадцать минут, проверят, нет ли вашего имени в списке говоривших что-нибудь против французского режима, изучат вашу родословную, зададут вопросы и в конце концов поставят в вашем паспорте все то же «sortie». Любой может перейти мост, но для немцев французы создают унижительную волокиту.

Как только вы перешли грязный Рейн, вы в Германии, и на немецком конце моста стоит парочка смиреннейшего вида немецких солдат, каких вам вряд ли удалось видеть. Два француза с примкнутыми штыками прогуливаются по мосту, а два невооруженных немца, прислонившись к стене, стоят и смотрят. Французские солдаты в полном обмундировании и стальных шлемах, а немецкие в старых свободных гимнастерках и фуражках мирного времени с высоким козырьком.

Я спросил француза о назначении и обязанностях немецкого патруля.

— Они там стоят, — ответил он.

В Страсбурге нельзя достать немецких марок. Возросший валютный обмен, вызванный резким падением курса марки, обчистил банкиров уже несколько дней назад, поэтому мы поменяли наши французские деньги на железнодорожной станции в Келе. За десять франков я получил 670 марок. Десять франков равнозначны 90 канадским центам. Этих девяноста центов нам с миссис Хемингуэй хватило на целый день довольно значительных расходов, и к вечеру у нас осталось еще 120 марок!

* Въезд в Кель (нем.).

Первую покупку мы сделали во фруктовой палатке, на главной улице Келя, где старая женщина продавала яблоки, персики и сливы. Мы выбрали пять очень красивых яблок и протянули женщине пятидесятимарковый банкнот. Она дала нам сдачи 38 марок. Приятный пожилой господин с седой бородой увидел, как мы покупали яблоки, и, приподняв шляпу, спросил:

— Простите, господин, — сказал он по-немецки несколько смущенно, — сколько стоят яблоки?

Я, подсчитав сдачу, ответил, что 12 марок. Он улыбнулся и покачал головой.

— Я не могу купить. Очень дорого.

Он пошел по улице походкой, какой ходят во всех странах пожилые с бородкой джентльмены старого режима, но он так вожделенно посмотрел на яблоки. Я пожалел, что не угостил его. Двенадцать марок на сегодняшний день соответствуют двум центам. Пожилой джентльмен, чьи сбережения, как и большинства принадлежащих к классу дельцов, были, наверное, вложены в немецкие довоенные и военные облигации, не мог себе позволить истратить двенадцати марок. Он относился к тому разряду людей, доходы которых не увеличиваются от падения покупательной способности марки или кроны.

При соотношении 800 марок — доллар или восемь марок — цент мы оценивали товары на витринах различных магазинов Келя. Фунт горошка стоит 18 марок, бобов — 16 марок. Фунт кофе «Кайзер» (в Германской республике еще много товаров с торговой маркой «Кайзер») можно купить за 34 марки. Кофе «Гернстайн», собственно говоря вовсе и не кофе, а поджаренные кукурузные зерна, стоит 14 марок фунт. Бумага от мух стоит 150 марок пакет. И лезвие косы стоит те же 150 марок, или 7 и $\frac{3}{4}$ цента! Пиво — 10 марок кружка, или один цент с четвертью.

Лучшая в Келе гостиница, весьма фешенебельное место, отпускает обеды из пяти блюд за 120 марок, на наши деньги — за пятнадцать центов. В Страсбурге, в трех милях отсюда, даже за доллар не получишь такого обеда.

Из-за строгости таможенных правил, особенно для возвращающихся из Германии, французы не могут приезжать в Кель покупать дешевые товары. Но они могут приезжать сюда обедать. Интересное зрелище откры-

вається вашому взору кожен день, коли толпа штурмує німецькі кондитерські і кафе. Німці готують дуже смачні пирожки, дійсно чудесні пирожки, одну порцію яких при теперешньому катастрофічному курсі марки французи із Страсбурга можуть купувати за ціну меншу, ніж найменша французька монета су. Ці чудеса обміну породжують шотландське зрелище. Молодь із міста Страсбурга забиває німецькі кондитерські, щоб поїсти смачними шмочками німецького сдобного пирога із сливками за п'ять марок ломтик. Зміст кондитерських підчищають за півгодини.

Чоловік із синіми окулярами і фартуком, напевно, був господарем тієї кондитерської, в яку ми зашли. Йому прислужив німець, типовий «бош», із коротко стриженими волоссями. Кондитерська була переповнена французами всіх віків і видів. Вони поглитали пирожки, а молода дівчина із рожевим платтям, із шовкових чулок, із милим і худеньким личиком і із жемчужинками в ушах едва встигала приймати у них замовлення на фруктовий і ванільний морозив.

Вона, здавалося, не дуже хвилювалася, чи зможе вона виконати всі замовлення. У місті були солдати, і вона всім часом поглядала в вікно.

Угрюмий господар і його сумний помічник не висловили ніякої радості, коли всі солодощі були продані. Марка падала швидше, ніж вони встигали печі. А в той час, коли в кондитерській молоді французькі хулігани уплетали останні пирожки і французькі мами витирали липкі роти своїм дітям, за вікном протрясався веселий маленький поїзд, везучи робітників до обідів у вагонах на околицю міста, проносилися машини дельців, піднімаючи пил, що осіла на дерев'яні і фасадні будівлі. Це відкривало нову сторону валютного обміну.

Коли останні солодощі і любителі чаю кінця дня двинулися через міст у напрямку Страсбурга, в Кель почали прибувати перші партії валютних піратів, що здійснюють набіги на дешеві обіди, і толпа зустрічними потоками потянулася по місту, а двоє німецьких солдатів все так само уніло продовжали стояти і дивитися. Як сказав хлопець у транспортній агенції: «Це — спосіб заробити гроші».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

«Торонто Дейли Стар», 30 сентября 1922

КОНСТАНТИНОПОЛЬ — шумный, жаркий, холмистый, грязный и прекрасный город. Он наводнен слухами и мундирами.

Прибывшие в город британские войска готовы предотвратить вторжение кемалистов.

Иностранцы нервничают и, помня судьбу Смирны, заказали билеты на все отходящие из страны поезда уже несколько недель назад.

БЕЗМОЛВНАЯ ПРОЦЕССИЯ *

«Торонто Дейли Стар», 20 октября 1922

АДРИАНОПОЛЬ. Нескончаемый, судорожный исход христианского населения Восточной Фракии запрудил все дороги к Македонии. Основная колонна, переправляющаяся через реку Марицу у Адрианополя, растянулась на двадцать миль. Двадцать миль повозок, запряженных коровами, волами, заляпачными грязью буйволами; измученные, ковыляющие мужчины, женщины и дети, накрывшись с головой одеялами, вслепую бредут под дождем вслед за своими жалкими пожитками. Этот главный поток набухает от притекающих из глубины страны пополнений. Никто из них не знает, куда идет. Они оставили свои дома, и селения, и созревшие, буреющие поля и, услышав, что идет турок, присоединились к главному потоку беженцев. И теперь им только и остается, что держаться в этой ужасной процессии, которую пасут забрызганные грязью греческие кавалеристы, как пастухи, направляющие стада овец.

Это безмолвная процессия. Никто не ропщет. Им бы только идти вперед. Их живописная крестьянская одежда насквозь промокла и вывалена в грязи. Куры спархивают с повозок им под ноги. Телята тычутся под брюхо тягловому скоту, как только на дороге образуется затор. Какой-то старый крестьянин идет, согнувшись под тяжестью большого поросенка, ружья и косы, к которой привязана курица. Муж прикрывает одеялом роженницу, чтобы как-нибудь защитить ее от проливного дождя. Она

одна стенами нарушает молчание. Ее маленькая дочка испуганно смотрит на нее и начинает плакать. А процессия все движется вперед.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО, РАЗГРОМ... И ВОССТАНИЕ

«Торонто Дейли Стар», 3 ноября 1922

Когда я пишу эти строки, греческие войска начинают отступление из Восточной Фракии. В своей плохо пригнанной американской форме они идут по равнине, впереди них кавалерийские патрули, солдаты шагают, по временам угрюмо улыбаясь нам, когда мы обгоняем их беспорядочно растянувшиеся колонны. За собой они перерезали все телеграфные провода, и те свисают со столбов, как ленты с майского шеста. Они оставили свои соломенные шалаши, замаскированные огневые позиции своих батарей, свои пулеметные гнезда и все густо заплетенные, растянутые, укрепленные рубежи, на которых они собирались дать последний отпор туркам... Заляпаные грязью буйволы с прижатыми к спине рогами тянут по пыльным дорогам тяжело нагруженные обозные фургоны. Некоторые из солдат взгромоздились на горы поклажи, другие погоняют буйволов. А впереди и позади обозных телег тянутся войска. Вот он, конец великой греческой военной авантюры...

Вину за все это нельзя возлагать на греческого солдата. Даже в отступлении греческие солдаты сохраняли воинский дух и вид. В них была та упорная стойкость, которая еще дала бы себя знать, если бы кемалистам пришлось драться за Фракию, а не получать ее в подарок по договору в Мудании. Капитан Уиттол, который был военным наблюдателем при греческой армии в Анатолии, рассказал мне о тех закулисных причинах, которые привели к разгрому греческой армии. «Греки первоклассные солдаты, — сказал Уиттол, — и у них был хороший офицерский состав, обладавший опытом совместных действий с англичанами и французами в Салониках. Греческая армия по своей подготовке превосходила кемалистскую. Я считаю, что она могла бы захватить Анкару и закончить этим войну, если бы не предательство. Как только король Константин пришел к власти,

все офицеры действующей армии были смещены — от главнокомандующего до взводного командира. А они, в значительной части выдвинутые из рядовых, были хорошими солдатами и испытанными командирами. Их сместили, а на их место назначили новых офицеров из сторонников Константина, которые по большей части провели войну в изгнании — в Швейцарии или Германии и ни разу не нюхнули пороха. Они-то и развалили армию и несут ответственность за ее разгром». Капитан Уиттол рассказывал мне, как неопытные артиллерийские офицеры принимали команду над батареями и расстреливали собственную пехоту. Он говорил о пехотных офицерах, которых интересовал не запас пороха, а запас пудры и губной помады. О штабных офицерах с их преступным невежеством и беспечностью. «В одном деле в Анатолии, — рассказал мне капитан Уиттол, — греческая пехота успешно атаковала, а своя же артиллерия накрыла наступающих. Майор Джонсон (другой английский наблюдатель, который был позднее офицером для связи в Константинополе) был тоже артиллерист. И хороший. Так он плакал при виде того, что делали свои же пушкари. Он порывался принять команду. Но не мог. У нас были указания соблюдать строгий нейтралитет — и он был бессилён».

Вот как король Константин предал свою армию, и в этом причина революции в Афинах, вовсе не подстроенная кем-то, как это кому-то казалось. Это было восстание армии против человека, который ее предал. Старые венизелосские офицеры вернулись в строй и реорганизовали армию Восточной Фракии. Греция считала Фракию своей Марной, где она должна была выстоять или погибнуть. Сюда были стянуты войска, все было накалено до предела. Но тут союзники в Мудании отдали Восточную Фракию туркам, а греческой армии предоставили три дня на подготовку к отходу. Армия ждала, не веря, что правительство подпишет Муданское соглашение, но оно было подписано, и армия — ведь она состоит из солдат — отступает по приказу.

Целый день я проезжал мимо них, грязных, усталых, небритых, обветренных, бредущих вдоль дорог коричневой, волнистой, голой Фракийской равнины. Никаких оркестров, литательных пунктов, организованных привалов, только вши, грязные одеяла и москиты ночью. Вот остат-

ки той славы, которая именовалась Грецией. Вот он, конец второй осады Трои.

БЕЖЕНЦЫ ИЗ ФРАКИИ *

«Торонто Дейли Стар», 14 ноября 1922

СОФИЯ. Медлительные, запряженные волами и буйволами арбы и телеги, возвышающиеся над ними караваны верблюдов, пешая толпа — все это двигалось по дороге на запад. Но был и жидкий встречный ручеек пустых повозок с турками на козлах. В лохмотьях, насквозь промокших плащах, грязных фесках они старались пробиться через главный поток. За каждым возницей сидел греческий солдат с винтовкой между колен и нахлобученным от дождя капюшоном. Это были реквизированные греческим командованием повозки турок, которые должны были помочь эвакуации, вывозя имущество беженцев. Возницы-турки были угрюмы и напуганы. Для этого у них были основания.

На развилке мощеной дороги в Адрианополь весь поток направлялся налево одним-единственным греческим кавалеристом с карабином, закинутым за спину, который выполнял свои обязанности бесстрашно, хлеща своей плеткой по морде любой лошади или буйвола, намеревающегося свернуть вправо. Вот он таким же образом направил одну из пустых турецких повозок направо. Турок вывернул повозку и стрекалом подогнал своих волов. Толчок разбудил сидевшего рядом с ним греческого солдата, и, заметив, что турок свернул с главной дороги, он привстал и прикладом наподдал ему в поясницу.

Турок, изможденного вида оборванный крестьянин, вывалился из повозки, лицом в грязь, в страхе вскочил и пустился вдоль дороги, словно заяц. Один из греческих кавалеристов заметил его, пришпорил коня и сшиб турка. С помощью двух греческих солдат он поднял его на ноги, раза два двинул его по лицу. Тот завопил во весь голос, и его, раскровяненного, обезумевшего, не понимающего, в чем дело, притащили к его повозке и приказали ехать дальше. А в потоке беженцев никто, казалось, и не заметил того, что случилось.

Я прошел по дороге с беженцами около пяти миль, увертываясь от верблюдов, которые, пофыркивая и рас-

качиваясь, шагали напрямик мимо огромных цельных колес арб, верхом груженных постелями, зеркалами, мебелью, притороченными свиньями, матерями, укутанными одеялами вместе с грудными детьми, стариками и старухами, цепляющимися за задок телеги и еле перебирающими ногами, склонив голову и упершись глазами в дорогу; а с ними вместе вьючные мулы, мулы с двумя охалками винтовок, связанных словно два снопа, одинокий помятый «фордик» с греческими штабными офицерами, неряшливыми и красноглазыми от бессоницы; и опять тяжело шагающие, насквозь промокшие, едва волочащие ноги, истомленные фракийские крестьяне, продирающиеся сквозь дождь все дальше от своих покинутых домов. Когда я пересек мост через Марицу, — там, где вчера было сухое русло, забитое телегами беженцев, сегодня на четверть мили шириной неся кирпично-красный поток...

Как бы долго ни шло это письмо до Торонто, вы можете быть уверены, что это ужасное, ковыляющее шествие людей, согнанных с насиженных мест, все еще течет непрерывным потоком по топким дорогам к Македонии. Их четверть миллиона, и они не скоро дойдут.

ФАШИСТСКИЙ ДИКТАТОР

«Торонто Дейли Стар», 27 января 1923

ЛОЗАННА. ШВЕЙЦАРИЯ. ...Муссолини — величайший шарлатан Европы. Хотя бы он схватил меня и расстрелял завтра на рассвете, я все равно остался бы при этом мнении. Самый расстрел был бы шарлатанством. Как-нибудь возьмите хорошую фотографию синьора Муссолини и попристальней взгляните в нее, вы увидите, что у него слабый рот, и это заставляет его хмуриться в знаменитой гримасе Муссолини, которой подражает каждый девятнадцатилетний фашист в Италии. Приглядитесь к его биографии. Вдумайтесь в компромисс между капиталом и трудом, каким является фашизм, и вспомните историю подобных компромиссов. Приглядитесь к его способности облачать мелкие идеи в пышные слова. К его склонности к дуэлям. По-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли, но это постоянно делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной

храбрости. И, наконец, взгляните на его черную рубашку и белые гетры. В человеке, носящем белые гетры при черной рубашке, что-то неладно даже с актерской точки зрения.

Вот две достоверные зарисовки с Муссолини здесь в Лозанне. Фашистский диктатор объявил, что примет журналистов. Пришли все и столпились в комнате. Муссолини сидел за столом, читая книгу, и на лбу его пролегли знаменитые морщины. Он разыгрывал Диктатора. Сам в прошлом газетчик, он знал, до скольких читателей дойдет то, что сейчас напишут о нем вот эти люди. И он не отрывался от книги. «Когда мы вошли, Чернорубашечный Диктатор не поднимал глаз от книги, так велика была его сосредоточенность...» и т. д.

Я на цыпочках зашел к нему за спину, чтобы разглядеть какую это книгу он читает с таким неотрывным интересом. Это был французско-английский словарь, и держал он его вверх ногами. Другое проявление Муссолини-Диктатора имело место в тот же день: группа итальянок, проживающих в Лозанне, пришла в его резиденцию в отеле Бо-Риваж, чтобы вручить ему букет роз. Это были шесть крестьянок, замужем за лозаннскими рабочими, и они стояли у двери, дожидаясь, когда им позволят воздать честь новому национальному герою, каким для них был Муссолини. Он вышел в своем сюртуке, серых брюках и белых гетрах. Одна из женщин выступила вперед и начала говорить. Муссолини нахмурился, усмехнулся, обвел своими большими африканскими белками остальных пятерых женщин и ушел обратно. Неприглядного вида крестьянки, наряженные в свои воскресные платья, остались стоять с розами в руках. Муссолини еще раз разыграл Диктатора. Через каких-нибудь полчаса он принял Клэр Шеридан, улыбка которой обеспечила ей много интервью, и нашел время, чтобы полчаса беседовать с ней.

И все же Муссолини не Боттомли*. Боттомли был дурак. А Муссолини не дурак и хороший организатор. Но очень опасно организовать патриотизм нации, если сам ты неискренен, особенно же опасно взвинчивать их патриотизм до такого накала, что они добровольно ссужают деньги правительству без всякого процента. Латиняне, раз уж они вложили деньги в дело, хотят получить

* См. сноску на стр. 49.

определенный результат, и они еще покажут синьору Муссолини, что гораздо легче быть в оппозиции к правительству, чем самому возглавлять правительство.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИТИКА

«Торонто Дейли Стар», 18 апреля 1923

ПАРИЖ. Раймон Пуанкаре неузнаваем. Еще несколько месяцев тому назад маленький лотарингский адвокат с белой бородкой, в лакированных туфлях и неизменных серых перчатках подавлял палату депутатов французского парламента своим методическим бухгалтерским умом и вспыльчивым нравом. Теперь он сидит смиренно и одиноко, а дородный белолицый Леон Доде грозит ему пальцем, приговаривая: «Франция сделает то, Франция делает это».

Леон Доде, сын писателя Альфонса Доде, глава роялистской партии. Кроме того, он редактор «Аксьон Франсез», роялистской газеты и автор непристойного романа «L'Entremetteuse», или «Сводня», содержание которого нельзя даже вкратце пересказать ни в одной газете, выходящей на английском языке.

В настоящее время роялисты, наверное, самая монолитная партия во Франции. Это вызывает удивление у тех, кто привык считать Францию республикой. Штаб-квартира роялистов находится в Ниме, на юге Франции, и Прованс почти целиком перешел на их сторону. Роялисты пользуются поддержкой католической церкви. Нетрудно понять, что римская церковь процветает пышнее под сенью европейской монархии, чем под сенью Французской республики.

Филип, герцог Орлеанский, кандидат роялистов в короли, живет в Англии. Он высокий, красивый мужчина и большой любитель псовой охоты. Ему законом запрещен въезд во Францию.

Есть еще роялистские фашисты — *camelots du Roi**. Они носят черные свинцовые трости с оранжевым набалдашником, и как только стемнеет, их можно видеть на улицах Монмартра, важно вышагивающих впереди и позади мальчишки, несущего газету «Аксьон Франсез» в радикальный район старого Бюта. Мальчишек, которые

* Королевские молодчики (фр.).

появляются с «Аксьон Франсез» в радикальных районах без надежного прикрытия камелотов, сильно избивают коммунисты и социалисты.

В прошлом году роялистская партия получила таинственным образом стимулирующий толчок. Это произошло так быстро и так неожиданно, что теперь все серьезнее говорят о ней как об одной из самых сильных партий. И действительно, на Доде готовится покушение со стороны крайних радикалов, а на политических деятелей не покушаются, если их не считают опасными. Около месяца тому назад было совершено покушение на Доде, но девушка-анархистка, стрелявшая в него, попала по ошибке в его соратника Мориса Плато.

Генерал Манжэн, прославленный полководец ударных частей, по прозвищу «Мясник» — роялист. Он, единственный из видных французских генералов, не был произведен в маршалы. Его всегда можно видеть в палате депутатов, когда выступает Доде. Только тогда он там появляется.

Роялистская партия не хочет никаких репараций от Германии. Ничего не могло бы быть для нее страшней, как если бы Германия завтра же оказалась в состоянии выплатить все сполна. Ибо это означало бы, что Германия становится сильной. Роялисты хотят слабой Германии и, если возможно, раздробленной, хотят возврата былой военной славы и былых завоеваний Франции, возврата католической церкви и короля. Но будучи патриотами, как и все французы, они прежде всего хотят обеспечить безопасность Франции за счет постоянного ослабления Германии. Их план заключается в увеличении репараций до таких размеров, чтобы сделать выплату невозможной, потом оккупировать территорию Германии и оставаться там до тех пор, «пока репарации не будут выплачены».

Темная история — каким образом им удалось завладеть Пуанкаре настолько, что он отказался даже обсуждать предложение немецких промышленников, согласившихся выплачивать репарации, если они будут понижены до разумной цифры. У немецких промышленников есть деньги: они наживались с самого заключения перемирия, увеличивали свои барыши благодаря инфляции марки, так как торговали на доллары и фунты, а рабочим платили ничего не стоящими марками, помещая при

этом большую часть своих долларов и фунтов в банки. Но все равно у них не нашлось бы столько денег, чтобы выплатить назначенные им репарации, у пяти европейских держав не нашлось бы столько, и потому они хотели бы окончательно договориться с Францией.

Но вернемся к Раймону Пуанкаре — маленькому человечку с белыми усами и крошечными ножками и ручками. Итак, теперь он сидит в кресле в палате депутатов, а дородный белолицый Леон Доде, автор непристойного романа, глава роялистов и человек, на которого готовится покушение, грозит ему пальцем, приговаривая: «Франция сделает то, Франция сделает это».

Чтобы понять, что происходит во Франции, мы должны помнить, что французская политика — единственная в своем роде. Эта политика имеет домашний интимный характер, это — политика скандалов. Вспомните дуэли Клемансо, убийство Кальмета, фигуру последнего президента Французской республики, стоявшего в фонтане в Булонском лесу и умолявшего: «Не дайте им взять меня, не дайте им взять меня».

Несколько дней назад господин Андре Бертон поднялся в палате депутатов и сказал: «Пуанкаре, вы идете на поводу у Леона Доде. Я требую объяснения, с помощью какого шантажа он держит вас. Не могу понять, почему правительство Пуанкаре должно терпеть диктаторство Леона Доде, роялиста». «Tout d'un pisce (вне себя)», — как писала газета «Матэн», — Пуанкаре вскочил с места: «Вы гнусный gredin *, мосье».

Во Франции вы не можете сильнее оскорбить человека, чем назвать его «gredin», хотя по-английски в этом слове нет ничего особенно оскорбительного. Палата затряслась от крика и свиста. Все это походило на общую потасовку на табачной фабрике в тот момент, когда Джеральдин Фэррар явилась нам впервые в роли Кармен. В конце концов все успокоились главным образом потому, что Пуанкаре, трясущийся и побелевший от гнева, сказал: «Этот человек осмелился с высокой трибуны заявить, что существует гнусное досье против меня, в чем я боюсь признаться публично. Я отрицаю это».

Бертон ответил весьма учтиво: «Я ни слова не сказал о досье». Буквально досье — значит пачка бумаги. Это

* Негодяй (фр.).

специальное название французской системы хранения документов в скоросшивателе на случай. Иметь досье — значит иметь все подтверждающие вашу виновность официальные бумаги, которые могут быть использованы против вас человеком, обладающим ими.

В конце концов Бертона попросили извиниться. «Прошу извинить меня за несдержанность, которую я позволил себе». Он проделал все весьма учтиво. Это прозвучало так: «Я только хотел сказать, господин президент, что господин Леон Доде оказывает своего рода давление на вашу политику».

Извинение было принято. Пуанкаре, выведенный из глубокой депрессии для того, чтобы отрицать существование бумаг, которые не были даже упомянуты, вернулся в прежнее состояние одиночества. Во Франции вы не можете предъявить обвинение человеку, если у вас нет в руках досье, а тот, кто обладает досье, знает, как надо им пользоваться.

В июле прошлого года в беседе с английскими и американскими журналистами, обсуждая положение в Руре, Пуанкаре сказал: «Оккупация была бы бесполезной и абсурдной. Совершенно очевидно, что Германия может платить в настоящее время товарами и рабочей силой». Тогда он был жизнерадостным Пуанкаре.

Между тем французское правительство истратило на оккупацию 160 миллионов франков, а рурский уголь обходится Франции в 200 долларов тонна.

ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО ПОПАСТЬ ТЕПЕРЬ В ГЕРМАНИЮ

«Торонто Дейли Стар», 2 мая 1923

ОФФЕНБУРГ. БАДЕН. В Париже говорят, что очень трудно попасть в Германию. Туристам запрещено. Журналисты нежелательны. Германское консульство не ставит визы на паспорт без письма из вашего консульства или от торгового представительства в Германии, в котором под печатью говорится, что отъезжающему необходимо быть в Германии по делам. В тот день, когда я пошел в консульство, была получена новая инструкция, разрешающая въезд больным «на лечение», если они предъявят от врача того курорта, куда собираются по-

ехать, медицинское свидетельство, указывающее природу их заболевания.

— Мы должны соблюдать предельную строгость, — консультировал меня немецкий консул, заглядывая в инструкцию, и с явным нежеланием и подозрительностью выдал мне визу, действительную на три недели.

— Откуда мы можем знать, что вы не напишете лжи о Германии? — сказал он мне прежде, чем вернул паспорт.

— Не беспокойтесь, — сказал я.

Для того чтобы получить визу, я дал ему письмо от нашего посольства, напечатанное на жесткой хрустящей бумаге и заверенное огромной красной печатью, сообщавшее «тому, кого это интересует», что мистер Хемингуэй, податель сего письма, хорошо известен посольству и является лицом благонадежным. Он направлен своей газетой «Торонто Стар» в Германию для освещения положения в стране. Чтобы получить подобные письма, не требуется много времени, и они ни к чему не обязывают посольство, к тому же они равнозначны дипломатическому паспорту.

Мрачного вида немецкий консул сложил письмо и собрался его убрать.

— Оно вам ни к чему. Это письмо должно остаться у нас как документ, на основании которого мы выдали вам визу.

— Но мне оно нужно.

— Оно вам ни к чему.

Маленькая подачка сделала свое.

Немец не так мрачно, но все же еще не приветливо: «Скажите, к чему вам это письмо?»

Я — билет в кармане, паспорт в кармане, багаж упакован, поезд отходит только в двенадцать ночи, несколько статей отправлено — в общем в приподнятом настроении: «Это рекомендательное письмо Римскому Папе от Сары Бернар. Вы, наверное, сегодня видели ее похороны. Я очень дорожу им».

Немец, грустно и несколько растерянно: «Но Папы нет в Германии».

Я, таинственно, выходя в дверь: «Этого никто знать не может».

В холодное серое раннее утро, когда моют улицы, развозят молоко, открывают ставни магазинов, ночью

поезд из Парижа прибыл в Страсбург. Из Страсбурга в Германию не было ни одного поезда. Мюнхенский экспресс? Восточный экспресс? Прямой поезд на Прагу? Они все ушли. Носильщик сказал мне, что я могу сесть на трамвай и проехать через Страсбург к Рейну, а потом перейти мост и прямо в Германию, а там, уже в Келе, сесть на военный поезд до Оффенбурга. Возможно, через некоторое время будет поезд до Келя, но этого никто точно не знает. Трамваем надежнее.

В переднем вагоне трамвая с маленьким окошком, открывающимся в салон, через которое кондуктор получил с меня франк за проезд и за две сумки, мы с грохотом покатали по извилистым улочкам утреннего Страсбурга мимо домов с острыми шпилями, оштукатуренных и оплетенных деревянными балками крест-накрест; через реку, которая кружила по всему городу, и каждый раз, когда мы ее переезжали, на берегу сидели рыболовы; по широкой современной улице, мимо современных немецких магазинов с большими витринами из стекла и со свежеевыкрашенными вывесками на французском языке; мясники открывали свои лавки, а их продавцы развешивали туши говядины и конины у входа; бесконечный поток повозок направлялся из деревни к рынку, и улицы поливали и мыли. В глубине переулка я увидел огромный красный кирпичный собор. Надписи в трамвае, одна на французском и другая на немецком, запрещали вступать в разговоры с водителем, а наш водитель болтал и по-французски, и по-немецки со своими приятелями, когда, вертя рычаги, он приостанавливал или ускорял наше продвижение по узким улочкам и дальше из города.

В сельской местности, лежащей между Страсбургом и Рейном, трамвайная линия идет вдоль канала. Большую тупоносую баржу с надписью на корме «Лузитания» * медленно тянули две лошади, которых оседлали двое детей владельца баржи, и дымок завтрака шел из кухонной трубы, а сам хозяин баржи стоял на палубе, облокотясь на якорь. Это было очень приятное утро.

На уродливом металлическом мосту, переброшенном через Рейн в Германию, трамвай остановился. Мы вы-

* Так назывался английский пассажирский пароход, потопленный немецкой подводной лодкой во время первой мировой войны.

шли. Там, где в прошлом году в июле выстраивалась у каждого трамвая длинная, как на хоккейный матч, очередь, теперь было только четыре человека. Жандарм посмотрел на наши паспорта. Мой он даже не открыл. Около десятка французских жандармов слонялись вокруг. Один из них подошел ко мне, когда я взял свои сумки и собрался пойти дальше по длинному мосту над Рейном, желтым, полноводным, уродливым, бурлящим, и спросил: «Деньги есть?»

Я сказал ему, что у меня сто двадцать пять американских долларов, приблизительно сто франков.

— Покажите ваше портмоне.

Он заглянул в него, буркнул что-то и вернул назад. Двадцать пять бумажек по пять долларов, которые я приобрел в Париже на покупку марок, произвели сильное впечатление.

— Золото есть?

— Mais non, monsieur *.

Он опять буркнул что-то, и я пошел с двумя сумками по длинному металлическому мосту мимо проволочного ограждения с двумя французскими часовыми в голубых металлических шлемах и с длинными игольчатыми штыками и оказался в Германии.

Германия выглядела невесело. На железной дороге, подходившей к мосту, грузили убойный скот в товарный вагон. Скотина входила нехотя, крутя хвостами и перебирая ногами. Длинный деревянный сарай с двумя входами, с надписью на одном «Nach Frankreich» ** и на другом — «Nach Deutschland» ***, стоял у самого края полотна железной дороги. Немецкий солдат сидел на пустом баке из-под бензина и курил сигарету. Женщина в невероятно большой черной шляпе с перьями и ужасающим количеством шляпных картонок, свертков и сумок остановилась напротив места, где шла погрузка. Я помог ей внести три свертка в дверь с надписью «В Германию».

— Вы тоже едете в Мюнхен? — спросила она, припудривая нос.

— Нет, только до Оффенбурга.

— О, как жаль. Нет такого места на свете, как Мюнхен. Вы там никогда не были?

* Нет, господин (фр.).

** Во Францию (нем.).

*** В Германию (нем.).

— Нет, еще не был.

— Послушайте моего совета: не езжайте никуда. Куда бы вы ни поехали в Германии — это будет пустая трата времени. Стоит ехать только в Мюнхен.

Пожилой немец, таможенный инспектор, спросил меня, куда я еду, нет ли у меня чего-нибудь подлежащего обложению пошлиной, и сделал паспортом знак удалиться.

— Идите прямо вниз по дороге на станцию.

Эта станция была когда-то важным таможенным разъездом на линии прямого сообщения Париж—Мюнхен. Сейчас она была пустынна. Билетные кассы закрыты. Все покрыто пылью. Я прошел по всему перрону к линии и увидел четырех французских солдат 170-го пехотного полка в полном обмундировании и с примкнутыми штыками.

Один из них сказал мне, что будет поезд в 11.15 на Оффенбург, военный поезд; до Оффенбурга около получаса езды, но этот потешный поезд прибудет туда только в два часа. Он улыбнулся. Мосье из Парижа? Что думает мосье о матче Крики—Кильбан? Да. Он думал то же самое. Он всегда считал, что этот Кильбан молодец. Военная служба? Да, ему все равно. Не имеет значения, где служить. Через два месяца он кончит свою службу. Какая жалость, что он не свободен, а то можно было бы поболтать. Мосье видел, как Кильбан нокаутировал? Неплохое молодое вино есть в этом буфете. Но он, черт побери, на посту. Буфет прямо и вниз по коридору. Мосье может оставить свой багаж здесь, все будет в порядке.

В буфете я увидел скучающего официанта в грязной рубашке и в запачканном супом и пивом вечернем костюме, длинный бар и двух сорокалетних французских лейтенантов за столиком в углу. Я поклонился, когда вошел, и они оба отдали мне честь.

— Нет, — сказал официант, — молока нет. Можете выпить чашку черного кофе, но это эрзац-кофе. Есть хорошее пиво.

Официант подсел ко мне за столик.

— Здесь сейчас никого нет, — сказал он, — все, кого вы видели в июле, теперь уже не могут приехать сюда. Французы не дают им паспортов в Германию.

— А те, кто раньше приезжал сюда обедать? — спросил я.

— Никого. Купцы и хозяева ресторанов в Страсбурге обзлюлись и пошли в полицию, потому что все приезжали сюда обедать, так как здесь намного дешевле, и теперь уже никто в Страсбурге не может получить паспорт, чтобы приехать в Германию.

— А что с теми немцами, которые работали в Страсбурге? (Кель был пригородом Страсбурга до заключения перемирия, и они были связаны общими интересами.)

— Все это кончилось. Теперь немец не может получить паспорта, чтобы перейти реку. Труд немцев мог бы быть дешевле, чем французов, поэтому все это и произошло с ними. Все наши фабрики закрыты. Нет угля. Нет поездов. Это был один из оживленнейших железнодорожных узлов Германии. Теперь ничто. Поезда не ходят, разве что военные, да и те ходят, когда им заблагорассудится.

Четыре *poilus** вошли и остановились у бара. Официант дружелюбно их приветствовал по-французски. Он налил им молодого вина, которое в стаканах оказалось мутно-золотистым, и вернулся назад.

— А как в городе относятся к французам?

— Нет никаких недоразумений. Они хорошие люди. Такие же, как и мы. Некоторые бывают иногда невыносимыми, но вообще-то французы — хороший народ. Никто не проявляет к ним ненависти, кроме дельцов. Тем было что терять. Мы не видали никакой радости с 1914 года. Даже если скопишь денег, все равно ничего не получишь на них. Остается только их тратить. Что мы и делаем. Когда-нибудь и это кончится. Не знаю как. В прошлом году моих денег хватило бы, чтобы купить гостиницу в Гернберге. Теперь на них не купишь и четырех бутылок шампанского.

Я взглянул на стену, где висел прейскурант:

Пиво — 350 марок стакан

Красное вино — 500 марок стакан

Бутерброд — 900 марок

Завтрак — 3 500 марок

Шампанское — 38 000 марок

* Солдат (фр.).

Я вспомнил, что в прошлом году в июле мы с миссис Хемингуэй останавливались в отеле-люкс за 600 марок в день.

— Да, — продолжал официант, — я читаю французские газеты. Германия понижает ценность своих денег, чтобы надуть союзников. Но мне какая выгода от этого?

С улицы донесся резкий свист гудка. Я расплатился и пожал руку официанту, отдал честь двум сорокалетним лейтенантам (они уже играли в шашки) и вышел, чтобы сесть на военный поезд, идущий в Оффенбург.

КОРОЛИ ТЕПЕРЬ ЗАНИМАЮТСЯ НЕ ТЕМ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ

«Торонто Стар Уикли», 15 сентября 1923

На днях в Париже я случайно встретился с моим старым приятелем Шорти. Шорти — кинооператор. Он снимает хронику, которую вы смотрите в кино. Шорти только что вернулся из Греции.

— Согласись, — сказал Шорти, — этот Джордж — прекрасный парень.

— Какой Джордж? — спросил я.

— Да король, — сказал Шорти, — разве ты с ним не встречался? Ты же знаешь, кого я имею в виду. Нового короля.

— Никогда не встречался, — сказал я.

— Благоднейший человек, — сказал Шорти, делая знаки официанту. — Настоящий принц крови этот парень. Взгляни.

Я взглянул. Это была почтовая бумага с изображением королевского герба Греции. На ней по-английски было написано:

«Королю было бы очень приятно видеть мистера Ворналла у себя сегодня днем в любое время. Его будут ждать весь день. Если мистер Ворналл будет столь любезен и пришлет ответ с подателем сего письма, то карета, высланная за ним, доставит его в королевский дворец».

(Подпись) — Джордж*.

— О, он мировой парень, — сказал Шорти, аккурат-

* Греческий король Георг II.

но складывая бумагу и засовывая ее назад в бумажник. — Я отправился к нему с камерой во второй половине дня. Мы въехали во дворцовый парк, минуя множество этих высоких здоровенных кукол в балетных пачках, приветствовавших нас поднятыми винтовками. Когда я выходил из кареты, король уже шел по дорожке навстречу. Он пожал мне руку и сказал: «Хэлло. Как дела, мистер Ворналл?»

Мы пошли прогуляться по парку и увидели там королеву, подрезавшую розовый куст. «Это королева», — сказал Джордж. «Здравствуйте», — сказала она.

— Ну и как долго ты был там? — спросил я.

— Часа два, — сказал Шорти, — король был рад с кем-нибудь поболтать. Мы выпили виски с содовой под большим деревом. Король сказал, что мало приятно сидеть взаперти. Ему не дают денег после революции * и не разрешают никому из знати посещать его. Ему запрещено даже выходить за пределы парка. «Ужасная тоска, можешь себе представить», — сказал он мне. — Андрею просто повезло. Как ты знаешь, его выслали из страны, и теперь он может жить в Лондоне или Париже, вообще где хочет».

— На каком языке вы говорили? — спросил я.

— На английском, конечно, — ответил Шорти. — На этом языке говорит вся греческая королевская семья. Я много снимал его и королеву во дворце и в парке. Он хотел, чтобы я его запечатлел на фоне старой сноповязалки, которая стоит там на одной из лужаек в пределах ограды. «Это будет здорово смотреться в Америке, как ты думаешь?» — сказал он.

— Ну, а как королева? — спросил я.

— Мне не удалось с ней познакомиться поближе, — ответил Шорти. — Я был там всего два часа. Не хотел торчать слишком долго. Некоторые американцы злоупотребляют их гостеприимством. Получат приглашение во дворец, а потом король не знает, как от них отделаться. Королева очень мила. Когда я уходил, король сказал мне: «Что ж, может быть, когда-нибудь встретимся в Штатах». Как все греки, он хочет перебраться в Штаты.

Джордж, король греческий — самый новый король в

* Имеется в виду переворот, возглавленный группой офицеров, свергнувших короля Константина, отца Георга II.

Европе и, возможно, самый неблагоприятный. Как сказал Шорти, он — приятный парень и влечит весьма безрадостное существование. Его поставил прошлой осенью революционный комитет, и он останется на посту столько времени, сколько сочтет нужным революционный комитет.

Джордж женат на румынской принцессе, дочери королевы Марии и короля Фердинанда. В настоящее время его теща совершает поездку по столицам Европы с тем, чтобы Джорджа признали законным правителем, а заодно и ее дочь — королевой.

Поскольку пришлось к слову, перейдем к королю румынскому, положение которого тоже не блестяще.

У короля Фердинанда очень озабоченный вид, какой только может быть у мужчины с верхнего Дуная, скрывающего истинное выражение лица за пышной растительностью усов.

Румыния — страна, которую никто в Европе всерьез не принимает. Когда государственные деятели и их советчики жили в лучших отелях Франции и на протяжении всего 1919 года заключали договор, преследовавший цель — европеизацию Балкан и приведший к балканизации Европы, румын представляла редкая коллекция пылких ораторов и толкователей исторических прецедентов, прибывшая в Париж для решительных действий.

Когда эти ораторы смолкли и договоры были подписаны, случилось так, что Румыния получила земли своих соседей в любом направлении, куда только пожелал ткнуть пальцем любой из этих румын. Те, кто состряпал договор, решили, что дешево отделались от присутствия горячих румынских патриотов. Во всяком случае теперь Румыния вынуждена содержать самую большую в Европе постоянную армию, чтобы подавлять восстания своих новоиспеченных румын, которые желают одного — перестать быть румынами.

Рано или поздно большие куски Румынии отколются и уплывут так же стремительно, как льдины, попавшие в Гольфстрим. Королева Мария, перворазрядный игрок в бридж, второразрядная поэтесса и великолепный знаток лабиринтов европейской политики, употребляющая косметики больше, чем все европейские королевские особы вместе взятые, делает сейчас попытку создать такой европейский союз, который приостановил бы грозящую

катастрофу. Но, с другой стороны, принц Кароль, очаровательный, о, необыкновенно очаровательный молодой человек и президент фирмы «Принц Кароль фильм Компани», сделавшей фильм о пышной коронации в Румынии, кажется, совсем не заинтересован в этом.

А между тем офицеры румынской армии, которым в недалеком будущем придется выдержать всю тяжесть суровых атак венгров и русских, пользуются губной помадой, румянят щеки и носят корсеты. Это не преувеличение. Я своими собственными глазами видел в кафе, как румынские пехотные офицеры подмазывали губки. Я видел кавалерийских офицеров нарумяненных, как хористки. Не могу поклясться за корсеты. Внешнее впечатление может быть обманчиво.

Из Румынии вернемся назад, во владения короля Бориса Болгарского. Борис — сын Фердинанда Лисы. Когда в 1918 году ближневосточный фронт развалился и болгарские войска вернулись домой с революционными комитетами во главе, они освободили некоего Стамболийского, бывшего фермера, грубияна и сквернословия, из тюрьмы, где он находился за то, что настаивал на участии Болгарии в войне на стороне союзников. Стамболийский вышел из тюрьмы, как выскакивает бык из темного корраля на яркий свет арены. Его первое нападение было сделано на короля Фердинанда. И Фердинанд покинул страну. Борис, его сын, тоже хотел ударить. «Если ты только попытаешься улигнуть из страны, пристрелю», — пригрозил Стамболийский.

Борис остался. Стамболийский держал его у себя в передней и вызывал, когда нужен был переводчик, чтобы поговорить с людьми, с которыми он хотел быть особенно вежливым. Например, с журналистами.

Борис — приятный, общительный блондин. Он чисто-сердечно не любит Болгарию и хочет жить в Париже. Теперь Стамболийский уже сброшен старыми прогерманскими офицерами, проходимцами и политическими интриганами, а также интеллигенцией, как в Болгарии называют людей, от избытка знаний потерявших способность быть честными, и расстрелян как беглый каторжник теми, кто довел до полной разрухи страну, в то время как Стамболийский пытался ее спасти. Борис все еще король, но его действия теперь контролируются Фердинандом и советчиками старой Лисы.

Я не видел его целый год, но говорят, что он все еще блондин, но уже не такой приятный и общительный. Он не женат, однако королева Мария, сваха, холит для него свою дочь.

Следующим идет Александр, король Югославии, или, как югославы настаивают, чтобы называли их страну, Королевства сербов, хорватов и словенцев. Александр — сын сербского короля Петра. Он не имеет ничего общего с хорватами и словенцами. Я видел его ночью в златном месте на Монмартре, куда он пришел инкогнито. Это был его последний приезд в Париж перед свадьбой. С ним были сербы и несколько французов, все в вечерних костюмах. Несколько девушек сидело за их столом. Это был грандиозный праздник для виноделов. Александр был совершенно пьян и очень счастлив.

После этого путешествия свадьбу отложили, но в конце концов она состоялась.

Виктор Эммануил, король Италии, невероятно коротенький, серьезный человек с седоватой козлиной бородкой и крошечными руками и ногами. Когда он носил военную форму, его ноги в круглых обмотках казались тощими, но крепкими, как у жокея. Его королева почти на голову выше его. Маленький рост итальянского короля — особенность всей древней Савойской династии, высочайшие представители которой были немногим выше боксеров легчайшего веса.

В настоящее время король Италии, наверное, самый популярный король в Европе. Он передал свое королевство, армию и флот Муссолини. Муссолини любезно вернул ему все с торжественными заверениями в верности и преданности Савойской династии. Потом он все-таки решил оставить армию и флот себе. Когда он попросит все королевство, пока неизвестно.

Я разговаривал со многими фашистами, старыми членами партии, составляющими ее ядро, и все они клялись, что они республиканцы. «Но мы доверяем Муссолини, — сказали они. — Муссолини знает, когда придет наше время».

Не исключено, что Муссолини отречется от республиканизма, как когда-то Гарибальди. Он так непостоянен, но обладает талантом придавать значительность своим легковесным делишкам.

Однако для существования фашистской партии необ-

ходимо поле деятельности. Правда, как видно из событий на Корфу и Адриатике, она получает некоторые возможности. Если для существования фашистов нужна будет республика, они установят республику.

Если говорить о мужских и человеческих достоинствах королей, то на всем континенте не найдется такого нежного отца и либерального правителя, как Виктор Эммануил.

Король Испании был всегда королем, сколько он себя помнит. Он родился королем, и вы можете проследить эволюцию его профиля на пятипесетовых монетах начиная с 1886 года. Для него быть королем не развлечение. Он никогда ничем иным не был. Он был красивее в детстве, если песеты не врут, но тогда мы все были красивее.

Альфонсо — еще один король, чей трон покоится на вулкане. Но это обстоятельство, кажется, совсем его не волнует. Он отличный игрок в водное поло и самый лучший в Испании автомобильный гонщик среди любителей.

Совсем недавно король проехал на своей машине из Сантандера, летнего морского курорта на севере Испании, в Мадрид через горы, холмы, над пропастями, со средней скоростью шестьдесят миль в час. В испанской прессе много об этом писалось. «Если у нас есть обязанности перед королем, так неужели король не обязан перед нами отвечать за безопасность своей жизни и т. д.». Поездка была не очень хорошо принята. Но уже через две недели король открывал новый автомобильный трек в Сан-Себастьяне, проехав два круга со скоростью более 100 километров в час. Его время было на четыре километра в час ниже победителя «Гран При».

В день розыгрыша «Гран При» в Сан-Себастьяне Испания понесла еще одно поражение в Марокко, потеряв 500 человек, в казармах в Малаге взбунтовались два полка и отказались поехать на мавританский фронт. Беспорядочная партизанская война между рабочими и правительством в Барселоне, в которой меньше чем за год погибло свыше двухсот человек, продолжается. Однако покушений на жизнь короля не было. Его никто не принимает всерьез. Он так давно находится у власти.

На севере живут респектабельные короли: Хаакон Норвежский, Густав Шведский, Христиан Датский. Они так хорошо разместились, что о них никто ничего не знает. Разве только о шведском короле, что он заядлый

теннисист и каждую зиму в Каннах играет с Сюзанн Ленглен.

Об Альберте Бельгийском и его жене королеве Елизавете достаточно много писалось.

Иоганн II, лихтенштейнский правитель, мало известен. Принц Иоганн правит княжеством Лихтенштейн с 1858 года. В этом году ему исполняется восемьдесят три года.

Я всегда думал, что Лихтенштейн — это менеджер боксеров-профессионалов из Чикаго, но оказывается, существует маленькая процветающая страна с таким названием, которой управляет Иоганн II. Иоганн I был его отцом. Вот уже более ста лет эта династия крепко держит страну в своих руках.

Территория княжества Лихтенштейн — шестьдесят пять квадратных миль, и расположено оно на австро-швейцарской границе. До 7 ноября 1918 года находилось в зависимости от Австрии. Два года назад лихтенштейнцы галантно передали Швейцарии управление почтой и телеграфом. Согласно последним сообщениям, все население в 10 876 человек живет хорошо, только у принца Иоганна немножко побаливают зубы.

Итак, я коснулся только царствующих европейских королей. Для королей в отставке потребовалось бы самостоятельная статья. Я никогда не видел кайзера, ни Гарри К. Тау, ни Ландру*. Некоторым моим друзьям удалось перелезть через ограду сада в Дорне и предстать перед кайзером в виде стогов сена или ящиков из-под пива или, переодевшись в баварских дипломатов, проникнуть к нему на прием. Но даже те, кто видел кайзера, ничего определенного сообщить не могут.

КАЧАЛО НА СУШЕ, КАК НА МОРЕ В ШТОРМ

«Торонто Дейли Стар», 25 сентября 1923

Здесь вы не встретите имен. Действующие лица — репортер, девушка-репортер**, очень красивая дочь в

* Французский преступник, убил десять женщин и одного мужчину. Получил прозвище «Синяя борода».

** Мэри Лаури, репортер «Торонто Стар», с которой Хемингуэй выполнял ряд заданий газеты.

японском кимоно и ее мать. Небольшой хор — друзья дома, которые разговаривают некоторое время в соседней комнате, а когда репортер и девушка-репортер проходят через эту комнату, они встают.

В четыре часа дня репортер и девушка-репортер стояли у парадного подъезда. Только что прозвонил звонок входной двери.

— Они не хотят нас впускать, — сказала девушка-репортер.

Внутри дома послышалось какое-то движение, а потом чей-то голос сказал: «Мама, я спущусь и отвечу им».

Дверь приоткрылась узкой щелью, и где-то посередине показалось очень смуглое и очень красивое лицо с мягкими волосами, разделенными пробором.

«Во всяком случае, она красивая», — подумал репортер. Его часто посылали на задания, в которых должны были фигурировать красивые девушки, но далеко не все потом оказывались красивыми.

— Что вам нужно? — спросила девушка в дверях.

— Мы из газеты «Стар», — сказал репортер. — Мисс Такая-то.

— Мы не хотим иметь дело с газетой. Я не могу вас впустить, — ответила девушка.

— Но... — сказал репортер и уже не мог остановиться. У него было такое чувство, что если он сейчас замолчит, дверь захлопнется. Поэтому он продолжал говорить. В конце концов девушка открыла дверь. «Хорошо, войдите, — сказала она, — я поднимусь и позову маму».

Она пошла наверх, быстрая и ловкая, в японском кимоно. Его, правда, следовало бы назвать по-другому. В кимоно есть что-то от раннего утра и беспорядка. Это кимоно было яркое, резко подчеркивающее фигуру и очень короткое. Казалось, его надо носить с двумя мечами на поясе.

Девушка-репортер и репортер сели на диван в передней.

— Извини, что я один все время говорил, — прошептал репортер.

— Напротив, продолжай и дальше. Только не отставивайся. Я уже не надеялась проникнуть сюда, — сказала девушка-репортер. — А она хороша. (Репортер

успел раньше заметить, что она красива.) — И знает, что кимоно ей идет.

— Ш-ш, они приближаются.

По лестнице спускалась девушка в японском кимоно. С ней была ее мать. Мать была настроена решительно.

— Единственное, что я хочу знать, — сказала она, — это где вы достали фотографии?

— Фотографии восхитительны, не правда ли? — спросила девушка-репортер.

Оба, девушка-репортер и репортер, отрицали, что они знают что-либо об этих фотографиях. Они ничего не знают. Нет-нет, решительно ничего. В конце концов им поверили.

— Мы ничего вам не скажем. Мы не хотим попасть в газету. С нас уже хватит. Много людей пострадало в землетрясении гораздо больше, чем мы. Мы не хотим говорить о нем.

— Но, мама, я же их впустила, — сказала дочь. Она повернулась к репортеру. — Скажите, а что бы вы хотели от нас услышать?

— Нам хотелось бы, чтобы вы рассказали, как помните, просто что произошло, — ответил репортер.

— Если мы вам расскажем, что вы хотите, можете ли вы нам обещать не называть наших имен? — спросила дочь.

— А почему бы и не назвать имена? — предложил репортер.

— Мы не скажем ни слова, если вы нам не пообещаете, — сказала дочь.

— Всем известно, что такое репортеры, — сказала мать. — Пообещают, а потом непременно упомянут ваше имя.

Похоже было, что интервью сорвется. Замечание сильно рассердило репортера. Это было незаслуженное оскорбление. Хватало и заслуженных.

— Миссис Такая-то, — начал он, — президент Соединенных Штатов доверяет репортерам весьма секретные вещи, огласка которых стоила бы ему поста. Каждую неделю премьер-министр Франции сообщает пятнадцати журналистам факты, которые, будь они повторены еще раз, привели бы к отставке всего французского правительства. Конечно, я говорю о репортерах, а не о продажных жучках.

— Хорошо,—сказала мать,—допустим, что это справедливо в отношении репортеров.

Дочь начала рассказ, и мать его продолжала.

— Пароход (тихоокеанский лайнер «Empress of Australia») был готов к отплытию,—сказала дочь.— Если бы мама и папа не пришли на мол проводить нас, я не уверена, что им удалось бы спастись.

— Этот пароход всегда отходит по субботам в полдень,—сказала мать.

— Как раз около двенадцати послышался страшный гул, и потом все вдруг начало раскачиваться. Мол накренился и подпрыгнул. Мы с братом стояли на палубе парохода, держась за металлические поручни. Люди выбрасывали вымпелы. Все продолжалось каких-нибудь тридцать секунд.

— Нас распластало на молу,—продолжала мать.— Это был огромный бетонный мол, и он все время раскачивался. Мы с мужем повисли друг на друге, и нас швыряло из стороны в сторону. Многих выбросило в море. Помню, как рикша барахтался в воде, пытаюсь вылезти на берег. Машины и вообще все было в море. Кроме нашей машины. Она стояла на молу рядом с машиной князя де Бэр, французского консула, пока не начался пожар.

— Что вы делали, когда толчок прекратился? — спросил репортер.

— Мы вышли на берег. Нам пришлось ползти. Местами мол треснул, и огромные куски бетона откололись. Мы пошли по Банду, вдоль берега моря, и кругом были провалившиеся большие склады. Банд — это шоссе, которое тянется по самому краю берега. Мы дошли до здания британского консульства, оно тоже обрушилось. Осело, как печка. Просто осыпалось. Стен не было, и через фасад можно было заглянуть во двор. Потом последовал еще толчок, и мы поняли, что бесполезно идти дальше или пытаться дойти до нашего дома. Муж слышал, что люди вышли из помещений, где они работали, еще до того, как все началось, и что нельзя помочь тем, кто продолжал работать в складах. Все обволокло огромное облако пыли, поднятой рухнувшими домами. Из-за него ничего не было видно, и по всему городу вспыхивали пожары.

— А люди? Как они себя вели? — спросил репортер.

— Паники не было. Даже странно. Я не видела никого в истерике. Впрочем одна женщина из русского консульства... Здание русского консульства находилось рядом с английским. Оно еще не обвалилось, его сильно покачнуло. Женщина выбежала из ворот вся в слезах. У чугушной ограды сидели кули. Она умоляла помочь ей вытащить дочку из здания. «Она такая крошка», — сказала она по-японски. Но они так и остались сидеть. Казалось, что они не могут пошевелинуться. Конечно, никто не помогал тогда. Все думали только о себе.

— Как вам удалось вернуться на пароход? — спросила девушка-репортер.

— В порту были джонки, и мужу удалось достать одну, и мы отправились к пароходу. Но тогда уже свирепствовал пожар и дул береговой ветер. Некоторое время был очень сильный ветер. Наконец мы добрались до мола. Конечно, трап никак нельзя было спустить, но нам выбросили канат, и мы по нему поднялись на палубу.

Теперь мать не надо было заставлять рассказывать и задавать ей вопросы. События того дня и всех последующих дней и ночей в Йокогамском порту опять завладели ею. Только сейчас репортер понял, почему она не хотела, чтобы у нее брали интервью, и что никто не имел права этого делать и заставлять ее переживать все снова. Ее руки чуть заметно дрожали.

— Сын князя (французского консула) оставался дома. Он был болен. Родители пришли на мол только проводить пароход. Квартал, где живет дипломатический корпус, расположен на холме, и холм съехал на город. Князь ушел с парохода и добрался до развалин своего дома. Мальчика откопали, но спина его была сильно повреждена. Работали несколько часов, чтобы его вытащить. Не удалось откопать дворецкого. Люди были вынуждены уйти оттуда и оставить его, потому что огонь подступил слишком близко.

— И они ушли, оставив его там живым надвигавшемуся огню? — спросила девушка-репортер.

— Да, вынуждены были оставить дворецкого там, — сказала мать. — Он был женат на экономке, и ей сказали, что его спасли.

Мать продолжала дальше глухим, усталым голосом:

— На пароходе, на котором я возвращалась в Кана-

ду, была женщина. Она потеряла мужа. Я даже не узнала ее. И еще молодая пара. Они совсем недавно приехали. Только что поженились. Жена пошла в магазин, когда это случилось. Он не мог добраться до нее из-за огня. Спасли главного врача американского госпиталя, но не удалось откопать его заместителя и жену. Огонь очень быстро распространялся. Весь город был сплошной пожар.

Мы остались на пароходе, конечно. Некоторое время берега совсем не было видно из-за плотной стены дыма. Совсем стало плохо, когда взорвались резервуары подводных лодок и загорелась нефть. Огонь двигался к молу из порта. Когда он дошел до мола, мы подумали: неужели мы спаслись на пароходе, чтобы сгореть?! Капитан спустил все шлюпки и готов был нас высадить на берег. К борту, со стороны которого надвигался огонь, нельзя было даже подойти. Так было жарко. Шланги были направлены на огонь, но он продолжал наступать.

Матросы пытались обрубить якорную цепь, которая запуталась в винте. Просто обрубить. В конце концов удалось отвести пароход от мола. Это — чудо, что удалось его вывести без буксирного катера. Просто нельзя было поверить, что такое возможно в Йокогамском порту. Это — чудо.

Конечно, весь день и всю ночь возили раненых и людей, лишившихся крова. Ездили на джонках и тому подобных суденышках. Забирали всех на пароход. Мы спали на палубе.

— Муж сказал, что он почувствовал облегчение только тогда, когда мы вышли за брекватер, — сказала мать. — Он очень боялся, что два старых вулкана недалеко от гавани начнут действовать.

— А прилив был? — спросил репортер.

— Нет. Ни одной приливной волны. Когда мы плыли в Кобе, наконец покинув Йокогаму, было еще три или четыре толчка. Но ни одной приливной волны.

Мысли ее были в Йокогаме.

— Люди, которые всю ночь стояли в воде, очень устали, — начала она.

— О да, те люди, которые всю ночь стояли в воде, — тихо сказал репортер.

— Да, чтобы спастись от огня. Там была одна очень старая женщина, наверное, лет семидесяти шести. Она

стояла в воде всю ночь. Многие спасались в каналах. Йокогама вся изрезана каналами.

— Это не усложнило обстановку во время землетрясения? — спросила девушка-репортер.

— О нет, напротив. Они были просто спасением во время пожара, — ответила мать совершенно серьезно.

— Что вы подумали, когда началось землетрясение? — спросил репортер.

— Мы знали, что будет землетрясение, — сказала мать. — Никто только не предполагал, что будет такое страшное. Там часто бывают землетрясения. Однажды, девять лет тому назад, было пять толчков в один день. Мы просто хотели пойти в город и посмотреть, все ли в порядке. Но когда увидели, что произошло, все остальное уже перестало иметь значение. Я не собиралась домой. Мои дети должны были уехать. Муж еще в Кобе. У него много работы по восстановлению.

Как раз в этот момент раздался телефонный звонок «Мама занята, она дает интервью репортерам», — сказала дочь. Она разговаривала с друзьями в соседней комнате, которые только что пришли. О музыке. Репортер прислушался, не рассказывает ли она о землетрясении. Нет, ничего.

Мать очень устала. Девушка-репортер поднялась. Репортер тоже встал.

— Вы понимаете, никаких имен, — сказала мать.

— Вы уверены, что не нужно? В этом нет ничего дурного.

— Вы же обещали не называть наших имен, — сказала мать устало.

Репортеры вышли из комнаты. Друзья встали, когда они проходили мимо них.

Репортеры бросили последний взгляд на японское кино, прежде чем дверь закрылась.

— Кто будет писать, ты или я? — спросила девушка-репортер.

— Не знаю, — сказал репортер.

ПАМПЛОНА В ИЮЛЕ

«Торонто Стар Уикли», 27 октября 1923

В Памплоне, белостенном, солнцем выжженном городе высоко в горах Наварры, каждый год в первые две недели июля проходит чемпионат по бою быков.

Любители боя быков со всей Испании стекаются в этот маленький город. В гостиницах удваиваются цены и заполняется каждый свободный угол. Кафе под колоннадой, которая тянется вокруг площади Plaza de la Constitucion *, забиты, и за одним столиком можно увидеть высокие сомбреро отцов-пилигримов из Андалузии, соломенные шляпы мадридцев и голубые плоские береты басков из Наварры или из Страны басков.

Необыкновенно красивые девушки в ярких шляхах, наброшенных на плечи, смуглые и черноокие, с черными кружевными мантильями на головах прогуливаются с эскортом поклонников в гуще толпы, которая с раннего утра и до позднего вечера движется в проходах между столиками в тени колоннады, спасающей от слепящего солнечного блеска площади Де-ля-Конститусион. Ни днем, ни ночью на улицах не прекращаются танцы. Крестьяне в голубых рубахах, составляющие маленькие оркестры, кружатся, извиваются, раскачиваются вместе со своими барабанами, флейтами и дудочками в ритмах древнего баскского танца Riau-Riau. А по ночам грохочут большие барабаны и военный духовой оркестр, потому что весь город танцует на огромной открытой площади.

Мы приехали в Памплону вечером. Улицы были запружены густой толпой танцующих. Музыка грохотала и редела. На центральной площади непрерывно вспыхивал фейерверк. Все карнавалы, какие я видел в своей жизни, бледнели в сравнении с этим. Над нашей головой ослепительной вспышкой взорвалась ракета, и гильза, крутясь со свистом, полетела вниз. Группа танцоров, сцепившись за руки, кружась в стремительном темпе, налетела на нас, прежде чем мы успели снять наши вещи с крыши автобуса. В конце концов, протискиваясь сквозь толпу, я дотащил наши рюкзаки до гостиницы.

Мы послали телеграмму за две недели до приезда с просьбой оставить для нас комнату. Но никаких комнат не оказалось. Нам предложили одну-единственную с единственной кроватью и вентиляционной трубой из кухни за семь долларов в день. Последовала перебранка с хозяйкой, которая, стоя за конторкой, упершись

* Площадь Конституции (исп.).

руками в бока, с безмятежным выражением на своем широком индейском лице, объясняла нам, вставляя изредка несколько французских слов в непрерывный поток баскского диалекта, что она выручает всю годовую прибыль за эти десять дней. Люди еще приедут и будут платить столько, сколько она запросит. Она может показать нам комнату получше — за десять долларов. На это мы ответили, что лучше, наверное, спать на улице со свиньями. Хозяйка согласилась с нами. Мы сказали, что предпочитаем улицу такому отелю. И все совершенно дружелюбно. Хозяйка задумалась. Мы не сдавали своих позиций. Миссис Хемингуэй села на рюкзак.

— Я могу достать вам комнату в городе. Вы там можете столоваться, — сказала хозяйка.

— Сколько будет стоить?

— Пять долларов.

Мы тронулись в путь по темным и обезумевшим от веселья улицам в сопровождении мальчика, тащившего наши вещи. Комната в старом испанском доме с толстыми крепостными стенами оказалась очень удобной и просторной. В ней было прохладно и очень приятно, и красный кафельный пол, и две большие удобные кровати, стоящие глубоко в алькове. Окном и балконом с чугунной решеткой она выходила на улицу. Нам было там очень хорошо.

Всю ночь внизу не умолкала музыка. Несколько раз за ночь раздавался дикий треск барабанов, и я вставал с постели и шел босиком по кафельному полу на балкон. Но на улице не было ничего нового. Мужчины в голубых рубахах с непокрытыми головами кружились и плыли по улице в диком фантастическом танце со своими отбивающими дробь барабанами и пронзительно свисгающими флейтами.

На рассвете на улице под нами грянула музыка. Настоящая военная музыка. Сама, уже одетая, стояла у окна.

— Иди сюда, — сказала она — там что-то происходит.

Внизу улица была полна народу. Было пять часов утра. Вся толпа текла в одном направлении. Я быстро оделся, и мы двинулись вслед за всеми.

Толпа хлынула на большую площадь Конститусион. Людские потоки вливались в нее со всех улиц и неслись

дальше за город в открытое поле, которое нам было видно через узкие щели в высокой стене.

— Давай выпьем кофе, — сказала Сама.

— По-моему не совсем подходящее время для этого. Послушай, — спросил я мальчишку-газетчика, — что там происходит?

— Епсиєго *, — ответил он с презрением, — епсиєго начнется в шесть.

— Что такое «епсиєго»? — спросил я его.

— О, лучше спроси меня об этом завтра, — сказал он и бросился бежать. Вся толпа теперь бежала.

— Я выпью чашку кофе, что бы там ни начиналось, — сказала Сама.

Официант налил нам из двух больших чайников две длинные струи кофе и молока. Толпа продолжала бежать, устремясь со всех улиц на Plaza.

— Но что же такое это «епсиєго»? — спросила Сама, поспешно глотая кофе.

— Я знаю только, что они выпускают быков на улицу.

Мы побежали за толпой и через узкие городские ворота выскочили на огромное желтое поле, где новый бетонный белый цирк для боя быков чернел людьми. Желтый с красным испанский национальный флаг развевался на легком утреннем ветерке. Через поле и внутрь цирка — и мы на самой высокой площадке, откуда нам открылся вид на весь город. Подняться туда стоило песету. На остальные площадки вход бесплатный. Там уже было около двадцати тысяч человек. Все теснились на наружных балконах огромного бетонного амфитеатра, выходящего в сторону желтого с ярко-красными крышами города, и глядели на длинный деревянный забор, тянувшийся от самых городских ворот через открытую местность к цирку.

Это был обыкновенный деревянный забор в два ряда, образующий проход длиной около двухсот пятидесяти ярдов от главной улицы к цирку. Люди, толпясь плотной стеной, стояли по обе его стороны. Все смотрели в направлении главной улицы.

Потом где-то далеко раздался глухой выстрел.

— Они побежали! — закричали все вокруг.

— Что это значит? — спросил я человека, свесившегося за бетонный барьер.

* Прибытие быков (исп.).

— Быки! Их выпустили из корраля. Они сейчас бегут по городу.

— Ну и ну, — сказала Сама. — Зачем это?

Вдруг в узком проходе, обнесенном забором, появилась бегущая толпа мужчин и парней. Они неслись во весь дух. Ворота в цирк были открыты, и они пробежали беспорядочной толпой прямо в нижние ряды амфитеатра. Потом появилась еще одна группа людей. Они бежали еще быстрее. Прямо по длинному проходу из города.

— А где же быки? — спросила Сама.

И они появились. Восемь быков, тяжелые, черные, блестящие, мчались галопом во весь опор, зловеще крутя рогами. И с ними три вола с колокольчиками на шеях. Быки бежали сбившись в кучу, а впереди них удирал, неся сломя голову арьергард мужчин и парней Памплонны, ради забавы пожелавших, чтобы быки преследовали их через весь город.

Парень в голубой рубашке, с красным шарфом, в белых брезентовых тапочках и с неизменным мехом вина за спиной споткнулся на ходу. Первый бык наклонил голову и резко отбросил его в сторону. Парень ударился в забор и остался неподвижно лежать, а стадо, по-прежнему держась вместе, пробежало мимо, не обратив на него никакого внимания. Толпа ревела.

Все ринулись в цирк, и мы успели добраться до своих мест как раз в тот момент, когда быки выскочили на арену, забитую народом. Мужчины в панике начали метаться по ней от одного конца к другому. Быки, направляемые дрессированными волами, стадом пробежали через арену и скрылись в загоне. Это было начало. Каждое утро в Памплоне во время праздника святого Фермина быков, предназначенных для выступления днем, выпускают из корраля в шесть утра, и они несутся полторы мили по главной улице города до цирка. Мужчины, которые бегут впереди них, делают это ради забавы. Это повторяется из года в год и повелось еще за двести лет до исторической встречи Колумба с королевой Изабеллой в лагере недалеко от Гранады.

Несчастные случаи происходят редко, потому что быки, держась стадом, не проявляют свой норов, а также потому, что волы, сопровождающие их, не дают им отставливаться.

Но бывает и так. Бык откалывается от стада, когда оно, сбившись в кучу, вбегает в загон, и разъяренный, несущийся с огромной скоростью, со вздувшимся загривком, опустив острые, как иглы рога, начинает нападать на мужчин и парней, толпящихся на арене. Им некуда бежать. Арена забита, и они не могут перелезть через баггега, или красный забор, который тянется вокруг арены. Они вынуждены оставаться там и принимать бой. В конце концов волю уводят быка с арены и загоняют его в корраль. Но он успевает ранить и убить до тридцати человек. Выходить на быка с оружием запрещено. Вот какому риску подвергаются любители боя быков каждое утро на протяжении всего праздника. Такова традиция Памплоны — дать возможность быкам в последний раз нанести удар любому человеку в городе, прежде чем они войдут в корраль, где останутся до тех пор, пока не придет время выскочить на ослепительный блеск арены, чтобы умереть там после полудня.

Поэтому бой быков в Памплоне считается самым отчаянным в мире. Любительские корриды, которые начинаются сразу же после того, как быки войдут в загон, доказывают это. В амфитеатре нет ни одного свободного места. Около трехсот мужчин с плащами, со странными тряпками, или старыми рубашками, или еще с чем-нибудь, что может имитировать плащ матадора, поют и танцуют на арене. Раздается клич, и ворота корраля распахиваются. Оттуда с невероятной скоростью выскакивает молодой бык. Его рога обмотаны кожей, что делает их безопаснее. Он нападает на человека, подхватывает его, подбрасывает в воздух, и толпа ревет от восторга. Человек падает на землю, бык устремляется к нему и начинает крутить его своей головой. Несколько любителей-матадоров размахивают плащами перед мордой быка, чтобы увести его от упавшего человека и заставить нападать на других. Бык кидается и сбивает следующего. Толпа неистовствует.

Потом бык разворачивается проворно, точно кошка, и ловит кого-нибудь, кто очень храбро действует плащом позади него футах в десяти. Или вдруг перебросит человека через забор арены. Потом выберет одного и преследует его, свирепо крутясь по арене, кидается на него через всю толпу, пока не собьет с ног. Баггега забита мужчинами и парнями, которые сидят на перекладине, и бык

вдруг решает расчистить ее от них. Он бежит вдоль красного забора, поддевая одним рогом сидящих, и сбрасывает их с перекладины, подкидывая на рогах, точно крестьянин разбрасывает вилами сено.

Каждый раз, когда бык подцепит кого-нибудь, толпа ревет от восторга. В основном она состоит из местных знатоков. Чем больше храбрости проявляет выступающий и чем элегантнее он действует своим плащом, тем неистовее ревет толпа, когда бык его повалит. Никто не выходит на быка с оружием, и никто не ранит и не раздражает его. Когда один любитель схватил быка за хвост и попробовал повиснуть на нем, толпа освистала его и выгнала с арены, а когда он во второй раз попытался проделать то же самое, кто-то хорошенько нокаутировал его. Самое большое удовольствие получает сам бык.

Как только бык начинает подавать признаки усталости и лениво нападать, два старых вола, один бурый, а другой, напоминающий огромного гольштейнца, рысцой выбегают на арену и подходят к нему, и молодой бычок послушно, как собака, следует за ними, смиренно делает круг вдоль арены и удаляется.

За ним сразу же выскакивает следующий бык, и падения, подбрасывания в воздух, неумелое взмахивание плащом и чудесная музыка повторяются снова. Но всегда по-разному. Несколько животных, выступающих сегодня в любительской корриде, — вола. Это тоже быки, предназначавшиеся для боя, но из-за каких-нибудь недостатков или в экстерьере, или еще в чем-нибудь они не смогли побить высокие цены 2 000—3 000 долларов, которые платятся за быков. Их боевой дух от этого, правда, не страдает.

Подобное представление повторяется каждое утро. Весь город высыпает из домов в половине шестого, когда по улицам проходит военный оркестр. Многие, чтобы не пропустить такое зрелище, совсем не ложатся спать. Мы не пропустили ни одного. Это захватывающее спортивное состязание поднимало нас в пять тридцать утра в течение шести дней подряд.

Насколько мне известно, мы были единственными говорящими на английском языке в Памплоне на празднике в прошлом году.

Тогда случилось три небольших землетрясения. В горах прошли сильные ливни, и река Эбро залила Сара-

госсу. В течение двух дней на арене стояла вода, и коррида впервые за сто с лишним лет была отложена. Это произошло как раз в середине праздника. Все были в отчаянии. На третий день погода сделалась еще мрачнее, дождь хлестал все утро, но вдруг днем облака уволоклись за долину, и выглянуло солнце, яркое и палящее, а после полудня состоялся самый прекрасный бой быков, какой мне только довелось видеть в жизни.

В небо взлетали ракеты, и когда мы сели на наши постоянные места, цирк был уже полон. Солнце нещадно пекло. Напротив нас на другой стороне арены стояли, матадоры, готовые к выходу. На них были старые костюмы, потому что вся арена была покрыта грязью. Мы навели бинокли на трех матадоров, выступавших в тот день. Среди них только один был новый. Это — круглолицый, жизнерадостный Ольмос. Двух других — смуглого худощавого Маэру, одного из величайших матадоров всех времен, и Альгабено, стройного молодого андалузца с красивым индейским лицом, сына известного матадора, — мы уже видели. На всех были костюмы, которые они, наверное, надевали на свои первые выступления. Уж очень они были узки и старомодны.

Церемониальное шествие началось; играла дикая музыка боя быков, но предварительные мероприятия быстро закончились, пикадоры верхом на лошадях двинулись вдоль красного забора к выходу, прозвучали трубы герольдов, и двери корраля распахнулись. Бык стремительно выскочил на арену, увидел человека, стоящего у баггега, и кинулся на него. Человек перемахнул через забор, и бык со всей силой своего нападения врезался в доску забора и разнес ее в щепки, сломав один рог. Зрители потребовали нового быка. Вышколенные волы рысцой выбежали на арену, и бык покорно, такой же рысцой поплелся за ними, и они скрылись в коррале.

Следующий бык появился так же стремительно. Это был бык Маэры, и Маэра после блестящего маневра с плащом вонзил в него бандерилью. Маэра — любимый торреро миссис Хемингуэй. Если вы хотите в глазах своей жены остаться храбрым и мужественным, никогда не берите ее на настоящий бой быков. Я ходил на любительские корриды по утрам и старался, как мог, вернуть хоть малость ее бывшего расположения ко мне. Но я все больше убеждался, что бой быков требует совсем

иного рода мужества, каким я не обладаю, и в конце концов мне стало ясно, что если у нее и возникнет какое-нибудь чувство ко мне, то это будет лишь средство избавиться от того истинного, которое вызывают в ней Маэра и Виляльта. Нельзя соревноваться с матадорами на их поприще, если вообще в чем-нибудь стоит. И если многие мужья все же пользуются расположением своих жен, то объясняется это, во-первых, тем, что число матадоров ограничено, и, во-вторых, что совсем мало жен видело бой быков.

Маэра вонзил первую пару своих бандериллий, сидя на краю баггега, красного забора. Он подразнил быка, и когда животное бросилось к нему, он откинулся назад и крепко прижался к забору. Рога ударились в забор, и Маэра, оказавшись между рогами, рванулся вперед и, перегнувшись через голову животного, всадил два коротких ножа ему в загривок. Он вонзил два других таким же образом и так близко от нас, что, наклонившись вперед, мы могли бы дотронуться до него. Потом Маэра вышел на быка, чтобы убить его, и, проделав несколько совершенно невероятных манипуляций с красной маленькой тряпкой — мулетой, он выхватил свою шпагу и вонзил ее в тот момент, когда бык кинулся на него. Шпага вырвалась из его руки, и бык подхватил Маэру. Маэра взлетел вверх и упал. Молодой Альгабено взметнул плащом перед мордой быка, и бык набросился на него. Маэра с трудом поднялся. Он растянул связки руки.

Каждый раз, когда Маэра, целясь, поднимал руку, чтобы вонзить шпагу, лицо его покрывалось бусинками пота. Но Маэра пытался еще и еще раз нанести свой смертельный заключительный удар. Он снова и снова ронял шпагу, поднимал ее левой рукой с грязной земли арены и перекладывал ее в правую для удара. Наконец, ему удалось нанести заключительный удар, и бык опрокинулся. Бык раз двадцать добирался до него. Когда Маэра, уходя с арены, остановился под нашей трибуной, я заметил, что его распухшее запястье стало вдвое больше нормального. Я вспомнил профессиональных боксеров, которые покидали ринг с малейшим повреждением руки.

После того как мулы, волоча за собой пристегнутого быка, рысцой вбежали в корраль, почти не было перерыва, и на арене появился второй бык. Пикадоры нанес-

ли ему первые удары своими копыями. Поддразнивания быка и атаки следовали одна за другой, пикадор безукоризненно защищался копьем, так и не подпустив быка, а потом вышел Росарио Ольмос с плащом.

Он взметнул плащом перед мордой быка и одним очень легким и изящным движением описал полный круг. Он попытался повторить этот прием, классическую «веронику», но бык не дал ему закончить. Вместо того чтобы застыть на месте в завершении вероники, бык набросился на матадора. Он поднял Ольмоса на рога и высоко подкинул его. Ольмос тяжело рухнул на землю, и бык, стоя над ним, бодал его рогами, всаживая их глубже и глубже. Ольмос лежал на песке, уронив голову на руки. Кто-то из его куадрильи бешено размахивал плащом перед мордой быка. Бык резко поднял голову и кинулся на человека из куадрильи, подцепив его на рога. Последовал еще один страшный бросок вверх. Потом бык развернулся и кинулся к человеку, стоявшему сзади него у баггега. Человек побежал что есть мочи, и в тот момент, когда он уже положил руку на красный забор, готовясь перепрыгнуть, бык настиг его и, вскинув на рога, бросил на зрителей. Потом он снова устремился к человеку из куадрильи, пытавшемуся встать без всякой помощи, и тут Альгабено схватил быка за хвост. Он повис на нем, и мне казалось, что кто-то из них — бык или матадор — не выдержит и лопнет. Раненый поднялся и пошел прочь с арены.

Бык повернулся проворно, точно кошка, и набросился на Альгабено, но тот встретил его широко развернутым плащом. Один, два, три раза матадор проделал красивый, медленный, плавный маневр с плащом, изящно и жизнерадостно, стоя на каблуках, так и не дав быку атаковать себя. Он был хозяином положения. Такого еще не было ни на одной корриде чемпионата.

Матадорам запрещено иметь дублеров. Маэра вышел из строя. Его рука не способна была теперь поднять шпагу в течение нескольких недель. У Ольмоса было тяжелое сквозное ранение. Этот бык был быком Альгабено. Этот и все пять остальных.

Альгабено справился с ними со всеми. Он победил их. Он работал плащом легко, грациозно, уверенно. Прекрасно действовал мулегой. И заключительный удар его был решительным и смертельным. Пять быков убил

он, одного за другим. И каждый был новой проблемой, которую он разрешал перед лицом смерти. В конце концов его жизнерадостность пропала. Осталось только одно — выстоять или быки одолеют его. Все быки были великолепны.

— Он великий парень, — сказала Сама, — ему всего двадцать.

— Жаль, что мы с ним не знакомы, — сказал я.

— Возможно, когда-нибудь познакомимся, — ответила Сама. Потом подумала немного и сказала: — Он наверное, скоро испортится.

Матадоры зарабатывают двадцать тысяч долларов в год.

Все это было каких-то три месяца назад. Но когда сидишь и работаешь в редакции, кажется, что это было в другом веке. Так далеко от твоих утренних поездок на работу в автобусе до выжженной солнцем Памплоны, где мужчины по утрам ради забавы удирают от быков через весь город. А морем до Испании можно добраться за две недели, и совсем не обязательно жить в замке. Там всегда можно остановиться в комнате на калле де Эслава, 5, а сын*, если ему суждено стать знаменитым матадором и прославить семью, должен начать тренироваться в очень раннем возрасте.

ЛОВЛЯ ФОРЕЛИ В ЕВРОПЕ

«Торонто Стар Уикли», 17 ноября 1923

Билл Джоунс отправился в Довиль с визитом к французскому банкиру, владельцу ручья, в котором водится форель. Банкир был очень толст. Его ручей был очень тощ.

— О, мосье Зшоунс. Я покажу вам настоящую рыбалку, — мурлыкал банкир за чашкой кофе. — У вас ведь в Канаде водится форель, не так ли? Но здесь! Здесь у нас поистине самое очаровательное место рыбной ловли во всей Нормандии. Я покажу вам. Оставайтесь довольны. Вот увидите.

Банкир был человеком слова. Его намерение показать

* 10 октября у Хемингуэя родился сын.

Биллу рыбную ловлю заключалось в том, что Билл смотрел, а банкир ловил. Они начали. Это было утомительное зрелище.

Если бы снять с банкира все его обмундирование и разместить по полкам, то получился бы целый магазин спортивных товаров. Его крючки, разложенные цепочкой, протянулись бы от Киокака (Иллинойс) до Парижа (Онтарио). А цена его удочки, наверное, могла бы сделать существенную брешь в долгах союзников или спровоцировать переворот в какой-нибудь стране Центральной Америки.

Банкир забросил удочку с самой ядовитой наживкой. К концу второго часа одна форель была поймана. Банкир ликовал. Форель была просто красавица, длиной полных пять с половиной дюймов и безукоризненной формы. Одно смущало в ней — странные черные пятна на брюшке и боках.

— Мне кажется, что рыба не совсем здорова, — нерешительно заметил Билл.

— Не здорова? Вам кажется, что она не здорова? Эта очаровательная форель? О, она чудо! Разве вы не заметили, какое страшное сопротивление она мне оказала, прежде чем я ее подхватил в сачок?

Банкир был взбешен. Красавица форель лежала на его широкой пухлой ладони.

— Но что значат эти черные пятна? — спросил Билл.

— Эти пятна? О, абсолютно ничего. Наверное, это черви. Кто знает? Вся форель в этом сезоне была с такими пятнами. Но пусть они вас не смущают, мосье Зшоунс. Подождите до завтрака, когда вы отведаете ее.

Возможно, близость к Довиллю испортила ручей банкира. Довиль принято считать чем-то вроде Пятой Аvenues, Атлантик-Сити и Содомы и Гоморры вместе взятых. На самом деле это — курортное место, которое стало настолько популярным, что настоящая изысканная публика туда уже не ездит. Зато все остальные продолжают ставить рекорды, кто дольше там пробудет, и принимать друг друга за графинь, графов, знаменитых боксеров, греческих миллионеров и сестер Долли.

В Европе настоящая ловля форели в Испании, Германии и Швейцарии. В Испании самая лучшая рыбная ловля в Галисии. Но места в Швейцарии и Германии непамятного уступают испанским.

В Германии очень трудно получить лицензию на рыбную ловлю. Все ручьи арендованы на год частными лицами. Если вы хотите порыбачить, вы должны сначала получить разрешение у лица, арендовавшего ручей. Потом вы едете в округ и получаете лицензию там, а потом уже только вам даст разрешение владелец земли.

Если у вас всего две недели на рыбную ловлю, возможно, что все это время пойдет на получение лицензии. Гораздо проще носить с собой удочку, и ловить рыбу там, где вам попадется хороший ручей. Если кто-нибудь начнет выражать недовольство, попробуйте всунуть ему марки. Если недовольство будет продолжаться, продолжайте предлагать деньги. Если этой политики придерживаться достаточно последовательно, недовольство прекратится и в конце концов вам будет разрешено удить рыбу.

Если же, напротив, вы кончите предлагать марки, прежде чем недовольство прекратится, вы можете попасть в тюрьму или больницу.

На этот случай хорошо иметь при себе долларовый банкнот где-нибудь во внутреннем кармане одежды. Предъявите долларовый банкнот. Десять против одного, что нападающая сторона, преисполненная благодарности, рухнет на колени, а поднявшись, побьет все существующие рекорды по бегу, устремившись к грубошерстному носку немецкой ручной вязки — этому ближайшему и секретнейшему банку южного немца.

Следуя подобному методу приобретения лицензии, мы рыбачили в Шварцвальде. С рюкзаками и удочками мы прошли всю местность, ориентируясь на высокие гребни и волнообразные хребты холмов, то пробираясь через густые сосновые леса, то выходя на просеку и к участкам фермеров, и опять шли дальше, меряя мили и не встречая ни души, кроме случайных одичавших ягдников.

Мы никогда не знали, где находимся. Но мы ни разу не заблудились, потому что в любой момент, спустившись в долину, вышли бы к ручью. Рано или поздно любой ручей впадает в реку, а река — это значит город.

На ночь мы останавливались в маленьких гостиницах, или *gasthofs*. Некоторые были так далеки от цивилизации, что их хозяева не знали, что марка быстро обесценивается, и продолжали брать по старым немец-

ким ценам. В одном месте комната и стол в день стоили на канадские деньги меньше, чем десять центов.

Как-то мы вышли из Триберга и долго тащились по круто взбирающейся в гору дороге, пока не достигли самой верхней точки местности, откуда нашему взору открылся весь Шварцвальд, волнообразно расходившийся во всех направлениях. Вдали мы увидели цепь холмов и решили, что у их подошвы протекает речка. Мы тронулись в путь по гористой голой местности, ныряя в долины и пробираясь через лес, прохладный и сумрачный, как собор в жаркий августовский день. Наконец, мы оказались в долине у подножья холмов, которые мы видели.

По дну долины бежал прекрасный маленький форельный ручеек, и поблизости не было ни одного фермерского дома. Я забросил удочку и, пока миссис Хемингуэй, усевшись под деревом на склоне холма, следила за двумя входами в долину, поймал четыре прекрасных форели. В среднем каждая весила $\frac{3}{4}$ фунта. Потом мы двинулись вниз по долине. Ручей расширялся. Сама взяла удочку, а я занял наблюдательный пост.

Она поймала шесть форелей за час, и я должен был спуститься, чтобы помочь ей подхватить в сачок двух самых крупных. Сама поймала очень большую форель, и после того, как она была с триумфом снята с крючка, мы увидели старого немца в крестьянской одежде, который наблюдал за нами с дороги.

— Gut Tag *, — сказал я.

— Tag, — сказал он, — хорошо идет?

— Да, очень хорошо.

— Хорошо, — сказал он. — Хорошо, когда кто-нибудь рыбачит. И побрел дальше по дороге.

Полной противоположностью ему были фермеры в Обер-Причтале, где у нас имелись все разрешения на рыбную ловлю. Они пришли и прогнали нас с ручья вилами, потому что мы были Ausländer^{**}.

В Швейцарии я узнал две очень ценные вещи о ловле форели. Первую я открыл, когда удил в сером, вздувшемся от талого снега ручье, который течет параллельно Роне. На муху ловить было бесполезно, и я на-

* Добрый день (нем.).

** Чужеземцы, иностранцы (нем.).

живил комком червей, этой прекрасной аппетитной сочной приманкой. Но я не поймал ни одной форели, и даже удочка ни разу не дернулась.

Старый итальянец, у которого была ферма в долине, проходил мимо меня и остановился. Рыба не шла, а я по опыту знал, что ручей полон форели, и меня охватила досада. Когда ловишь рыбу и кто-то стоит за твоей спиной, так же неприятно, как когда ты пишешь письмо своей девушке, а кто-то заглядывает тебе через плечо. Я сел и стал ждать, когда уйдет итальянец. Он тоже присел.

Он был очень старый, и лицо у него было, как кожаный бурдюк.

— Ну, папаша, нет рыбы сегодня, — сказал я.

— Для тебя нет, — сказал он степенно.

— Почему для меня? Может быть, и для тебя?

— О, нет, — сказал он без улыбки. — Для меня всегда есть форель. Для тебя нет. Ты не знаешь, как надо ловить на червя. И сплюнул в ручей.

Это задело меня за живое. Отрочество я провел в сорока милях от Зоу и ловил форель на камышовую жердь, наживляя столько червей, сколько мог выдержать крючок.

— Ты старый и знаешь все. Ты, наверное, знаешь, как надо ловить на червя, — сказал я.

Он поддался на это.

— Дай мне удочку, — сказал он.

Он взял у меня удочку, счистил комок извивающихся червей с крючка, эту лакомую пищу форели, и выбрал из моей коробочки одного червя средних размеров. Этого живца он насадил на крючок номер десять и оставил три четверти червя свободно извиваться.

— Вот теперь это червь, — сказал он с удовлетворением.

Он намотал леску на катушку, оставив только шесть футов поводка, и закинул свободно извивающегося червя в омут у берега, где бурлила вода. Ничего не произошло. Он медленно вытащил поводок из воды и закинул его в другое место несколько поглубже. Конец удища согнулся. Он погрузил его чуть-чуть в воду. Потом удочка резко дернулась вниз, он подсек и вытащил 15-дюймовую форель, послав ее назад через голову одним ловким взмахом.

Я упал на все еще бившуюся форель. Итальянец отдал мне удочку.

— Так-то, молодой человек. Вот как надо ловить на червя. Насади его так, чтобы он свободно извивался, как червяк. Форель схватит свободный конец и потом засосет его целиком и крючок и все. Я рыбаку на этом ручье уже двадцать лет, и я знаю. Много червей отпугивает форель. Все должно быть естественно.

— Возьми удочку и полови, — уговаривал я его.

— Нет, нет. Я могу только ночью, — улыбнулся он, — очень дорого получить разрешение.

Он ловил, когда я стоял на страже, и мы, по очереди пользуясь удочкой, ловили весь день и вытащили 18 форелей.

Старый итальянец знал все омуты и забрасывал удочку только туда, где были большие форели. Мы ловили на свободно извивающегося червя, и результат — 18 форелей в среднем по полтора фунта каждая.

Он показал также, как ловить на гусениц. Гусеницы хороши только в прозрачной воде, но это верная наживка. Их можно найти в прогнивших деревьях или в корягах, и швейцарцы и швейцарские итальянцы держат их в специальных коробках, плоских кусках дерева с просверленными дырочками и со скользящей металлической крышкой. Гусеница прекрасно живет в дырке дерева, точно в коряге, и является одной из самых лучших наживок в жаркую погоду. Форель возьмет гусеницу, когда она ни на что не идет в период низкой воды в августе.

Швейцарцы также хорошо умеют готовить форель. Они варят ее в соусе из винного уксуса, лаврового листа с примесью красного перца. Добавляют немного всех этих пряностей в кипящую воду и варят форель до тех пор, пока она не станет голубой. При таком способе сохраняется специфический аромат форели лучше, чем при любых других. Мясо не разваривается, остается розовым и нежным. Они подают ее с растопленным маслом и запивают прозрачным сионским вином.

Это блюдо плохо знают в гостиницах. Надо отправиться в глубь страны, чтобы поесть приготовленную таким образом форель. Вы поднимаетесь от ручья к шале и спрашиваете, готовят ли здесь голубую форель. Если они не умеют, вы идете дальше. Если умеют, вы садитесь на террасе вместе с козами и детьми и ждете.

Ваш нос подскажет вам, когда форель начинает кипеть. Потом вы слышите «хлоп». Это раскупоривают сионское. Потом хозяйка шале появляется в дверях и говорит: «Готово, мосье».

Теперь вы можете уйти, а я справлюсь и сам.

МНОГО ВОЕННЫХ НАГРАД НА ПРОДАЖУ, НО НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ ИХ ПОКУПАТЬ

«Торонто Стар Уикли», 8 декабря 1923

Какова рыночная цена воинской доблести? В магазине монет и медалей на Аделейд-стрит продавец сказал: — Нет, мы их не покупаем. Нет спроса.

— А много приходят продавать их? — спросил я.

— О, да. Приходят каждый день. Но мы не покупаем орденов и медалей этой войны.

— А что приносят?

— В основном орден «За победу», «Звезду 1914 года», много «Военных медалей», реже «За боевую доблесть» или «Военный крест». Мы советуем им пойти в ломбард, где они смогут получить свои награды назад, когда у них появятся деньги.

Репортер отправился дальше на запад по улице Королевы мимо сверкающих поддельными кольцами витрин, лавочек старьевщиков, мимо дешевых парикмахерских, магазинов, торгующих поношенной одеждой, уличных торговцев в поисках аукциона, где устанавливается рыночная цена воинской доблести.

В ломбарде повторилась та же история.

— Нет, мы их не принимаем, — сказал молодой человек с блестящими волосами, стоявший за прилавком, на котором лежали невыкупленные заклады. — Они совсем не идут. О, да, приносят все, что угодно. Да, и «Военные кресты». А на днях приходил человек с орденом «За отличную службу». Я отсылаю их в магазины подержанных вещей на Йорк-стрит. Там покупают все.

— Что вы мне дадите за «Военный крест»? — спросил репортер.

— Очень сожалею, Мак. Мы не торгуем ими.

И репортер опять оказался на улице Королевы и вошел в первый попавшийся магазин подержанных вещей.

На витрине была вывеска: «Покупаем и продаем все».

Дверь открылась с резким дребезжанием звонка. Из глубины магазина вышла женщина. На прилавке в кучу были свалены треснувшие дверные звонки, будильники, ржавые плотничьи инструменты, старые железные ключи, бильярдные кии, игральные кости, разбитая гитара и тому подобный хлам.

— Что вам угодно? — спросила женщина.

— Вы продаете медали?

— Мы не держим подобного рода вещей. Что вы хотите? Продать мне что-нибудь?

— Да, — сказал репортер. — Что вы мне дадите за «Военный крест»?

— А что это? — подозрительно спросила женщина, пряча руки под передник.

— Это — орден, — сказал репортер, — серебряный крест.

— Из настоящего серебра? — спросила женщина.

— Думаю, что да, — сказал репортер.

— Точно не знаете? — спросила женщина. — У вас его с собой нет?

— Нет, — сказал репортер.

— Ну, что ж, принесите его. Если настоящее серебро, я, возможно, предложу вам хорошую цену, — улыбнулась женщина. — Постойте, а это не одна из тех военных наград?

— Что-то вроде, — сказал репортер.

— Тогда не беспокойтесь напрасно. Эта вещь не годится для продажи.

Репортер зашел еще в пять магазинов, торгующих подержанными вещами. Но нигде не торговали орденами. Нет спроса.

Вывеска на одном магазине гласила: «Мы покупаем и продаем все, имеющее ценность. Хорошо платим».

— Что хотите продать? — ухватился бородатый человек за прилавком.

— Не купите ли вы военные ордена? — неуверенно спросил репортер.

— Послушайте. Может быть, эти ордена имели цену на войне. Я не говорю, что не имели, понимаете? Но бизнес есть бизнес. Почему я должен покупать то, чего не могу продать?

Торговец был очень любезен и предупредителен.

— Что вы дадите мне за часы? — спросил репортер. Торговец тщательно изучил их, открыл крышку и посмотрел ход. Повертел в руках и послушал.

— Очень приятно тикают, — заметил репортер.

— Сейчас цена таким часам, — сказал обросший бородой торговец беспристрастно и положил часы на прилавок, — цена таким часам центов шестьдесят.

Репортер продолжил свой путь по Йорк-стрит. В настоящее время каждая вторая дверь на этой улице — магазин подержанных вещей. Репортеру оценили пальто, он получил еще одно предложение на часы в семьдесят центов, и прекрасное предложение в сорок центов на портсигар. Но никто не покупал и не продавал орденов.

— Каждый день приходят продавать эти ордена. Вы первый за много лет, кто желает купить их, — сказал старьевщик.

В конце концов в грязной лавчонке репортер нашел несколько орденов. Продавщица достала их из ящика кассы.

Это были «Звезда 1914—1915 года», медаль «За службу», медаль «За победу». Все три новенькие и блестящие лежали в коробочках, в которых их рассылали. На каждой были написаны одна и та же фамилия и номер. Они принадлежали пулеметчику канадской артиллерии.

Репортер внимательно рассмотрел их.

— Сколько? — спросил он.

— Они продаются все вместе, — сказала женщина оборонительно.

— Сколько вы хотите за них?

— Три доллара.

Репортер продолжал разглядывать медали. Они свидетельствовали о воинской доблести канадца и чести, оказанной ему королем. Имя владельца было на ободке каждой медали.

— Пусть вас не смущает это имя на медалях, — уговаривала женщина, — вы легко можете счистить его. Эти медали очень вам подойдут.

— Я не уверен, что именно такие я искал, — сказал репортер.

— Вы не ошибетесь, если купите эти, мистер, — уговаривала женщина. — Лучших медалей и желать нечего.

— Но, к сожалению, мне не такие нужны, — возразил репортер.

— Хорошо, предложите сами цену.

— Нет.

— Предложите сами. Предложите любую цену, какую вы считаете справедливой.

— Не сегодня.

— Предложите любую цену. Это хорошие медали, мистер. Взгляните на них. Дадите мне доллар за все?

На улице репортер взглянул на витрину. Вы, очевидно, можете продать разбитый будильник. Но вы не можете продать «Военный крест».

Вы смогли бы сбыть подержаную губную гармошку. Но нет спроса на медаль «За боевую доблесть».

Вы могли бы продать даже ваши старые портянки. Но не нашли бы покупателя на «Звезду 1914 года».

Итак, какова рыночная цена воинской доблести, вопрос остается открытым.

ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА МАРКИ

«Торонто Стар Уикли», 8 декабря 1923

— Конечно, если джентльменам нужны эти двадцать пять центов на пищу и ночлег...

Уличный торговец расположился в узком переулке напротив Озгуд Холла в Торонто. Перед ним возвышался ящик с несколькими конвертами иностранной валюты.

Перед ящиком стояла толпа безработных, переминаясь с ноги на ногу в грязи, и с понурым видом внимала его обольстительным речам.

— Я говорю, — продолжал он, облизывая губы под седыми усами, — если джентльменам нужны двадцать пять центов на кусок хлеба, мне таких денег не надо. Но если джентльмены готовы выгодно поместить свои деньги, я предоставляю им возможность разбогатеть на всю жизнь.

— Только двадцать пять центов, джентльмены. Только двадцать пять канадских центов, а Россия восстановится. За двадцать пять центов — 250 000 советских рублей. Кто купит?

Казалось, никто не собирался раскошелиться. Но все слушали его очень серьезно.

Это были русские рубли, австрийские кроны, немецкие марки, не стоившие той бумаги, на которой они были напечатаны. Здесь в одном из районов Торонто на них делалась последняя ставка как на настоящие деньги.

— Обычно цена этому банкноту 125 000 долларов. Представьте себе, что он подорожает, и рубль поднимется до одного цента. У вас — 2500 долларов. Вы идете в банк и получаете 2500 долларов за один такой билетик.

У одного из слушателей загорелись глаза, и он облизнулся.

Торговец взял за краешек розовую, ничего не стоящую бумажку и любовно взглянул на нее.

— А Россия восстанавливается, джентльмены. С каждым днем ее деньги дорожают. Не слушайте тех, кто говорит, что Россия погибла. Уж если страна становится республикой, она не свернет с этого пути. Взять хотя бы Францию. Она уже давно республика.

Мужчина в старой шинели, стоявший в первом ряду, кивнул головой. Другой почесал затылок.

Торговец вытащил большой сине-зеленый банкнот и положил его рядом с русским.

Никто не объяснил собравшимся, что эти на вид дешевые бумажные русские деньги достоинством в миллион рублей были напечатаны с такой быстротой, с какой только способны были работать печатные станки, чтобы уничтожить ценность старых царских денег, а следовательно, и класс, державший эти деньги. Теперь Советы выпустили деньги, которые обеспечиваются золотом. Но их нет у уличных торговцев.

— Тому, кто первый заплатит двадцать пять центов за эти 250 000 рублей, я бесплатно отдаю немецкий банкнот в 10 000 марок в придачу.

И торговец поднял два банкнота для обозрения.

— Боже упаси вас думать, что Германия выдохлась. В утренних газетах вы читали, что Пуанкаре слабеет. Пуанкаре слабеет, а марка дорожает.

Он подбадривал толпу. Мужчина вытащил двадцать пять центов.

— Дай мне.

Он взял два билета, сложил их и спрятал во внутренний карман. Он улыбался, а торговец продолжал. Он опять делал ставку на Европу.

Иностранные новости неиссякаемым потоком лились теперь из его уст. Еще четыре или пять человек купили за двадцать пять центов полмиллиона рублей. Рубли даже не значатся в валютном курсе, но все же они и ничего не стоящие марки продаются по всей Канаде как ценные бумаги.

Валютчик наклонился и вытащил конверт с тысячными купюрами немецких марок. Это были отпечатанные на добротной бумаге довоенные марки, которые имели хождение в Германии до недавнего времени, но прошлой весной валютный курс с 20 000 марок на доллар резко упал, и теперь вы можете потребовать миллиарды марок за доллар и получить их. Эти марки потеряли всякую ценность, как, впрочем, и другие. Это просто бумага для оклейки стен или обертка для мыла.

— О, это особые марки, — сказал валютчик. — Я продаю их за доллар штуку. Раньше они стоили пятьдесят центов. Но теперь я повысил цену. Кому они не нужны, пусть не покупает. Это настоящие довоенные марки.

Он нежно погладил их. Настоящие довоенные марки.

Они стоили 15 центов триллион, но на прошлой неделе нью-йоркские банки перестали их котировать.

— А чем они лучше тех, что вы продавали? — спросил худой мужчина, который стоял облокотившись о стену дома. Он был одним из тех, кто вложил свои двадцать пять центов в Европу, и потому подозрительно отнесся к этим новым маркам, неожиданно свалившимся на него.

— Эти марки были узаконены договором в Версале, — сказал торговец доверительно. — Каждая из них была узаконена Версальским мирным договором. Германия в течение тридцати лет обязана платить за них по номинальной стоимости.

Люди, стоявшие перед импровизированной трибуной, посмотрели с уважением на марки, утвержденные мирным договором. Они явно были не по карману вкладчикам. Но даже находиться вблизи них было уже что-то.

Пока торговец ораторствовал, молодой человек, стоявший в стороне и покуривавший трубку, прикрепил к стене одноэтажного дома газетные вырезки и образцы иностранной валюты. В основном это были заметки о восстановлении экономики Советской России и другие оптимистические сообщения из-за рубежа.

С помощью указательного пальца валютчик изобразил этапы долларного займа какому-то австрийскому банку.

— Итак, кто купит 100 000 австрийских крон за доллар? — обратился он к толпе, подняв большой пурпурный билет старой габсбургской валюты.

На сегодняшний день австрийская крона стоит 0,0014¹/₂ цента. Другими словами, 14 центов соответствуют 10 000 крон. На доллар за 10 000 крон приглашались собравшиеся в переулке принять участие в афере с австрийской валютой.

— Я лично имею ровно столько канадских денег, сколько мне нужно для того, чтобы оплачивать счета, — продолжал он завлекать толпу. — Никто не знает, что может произойти с канадскими деньгами. Взять хотя бы эту валюту различных стран. Самое разумное иметь немножечко русских денег, немножечко немецких, немножечко австрийских и немножечко английских.

Большинство толпившихся здесь людей, казалось, не прочь были иметь хотя бы немножечко канадских денег. Но они продолжали слушать, и на каждое предложение, сопровождавшееся потоком красноречия, у кого-нибудь находилось двадцать пять центов, и надежда разбогатеть поселялась еще в одном человеке.

— Вот, например, эти австрийские банкноты, — продолжал валютчик. — За один такой билет я брал два доллара. Теперь продаю за один вместе с миллионом русских рублей.

При этом заявлении те, кто купил четверть миллиона русских денег за двадцать пять центов, помрачнели.

— О, это совсем другие рубли, — успокаивал их торгош, — за них я не взял бы и 10 долларов за штуку. Пусть кто-нибудь предложит мне 10 долларов, и я посмотрю, удастся ли ему получить эти деньги.

Никто из джентльменов не предложил.

— Я не скрываю, что у меня есть конкуренты, — продолжал он завлекать покупателей. — Они пытаются продавать по более низкой цене, чем я. Они режут мне цены. Но теперь я собираюсь подрезать их. Мой самый серьезный конкурент просит 40 центов за миллион рублей. Я собираюсь сбить цены до предела. Он начал соревнование. Посмотрим, выдержит ли он его. Джентльмены,

отдаю миллион рублей вместе с десятью тысячами крон. Все за доллар.

Ни у кого не оказалось доллара. Тогда купил репортер.

— Вот джентльмен, который, будьте уверены, увеличит свои сбережения, — сказал торговец. — Да, джентльмены, Австрия восстанавливается. Она не может не восстановиться. Скажем, австрийская крона поднимется только до полцента — у вас сразу же наличными 50 долларов.

Но это был не тот класс вкладчиков, у которых водился доллар в кармане.

И уличный делец вынужден был вернуться к более умеренным суммам.

— Итак, кто желает внести двадцать пять центов, — начал он и вытащил розовую бумажку в четверть миллиона рублей.

Опять его аудитория была с ним. Все пошло по-прежнему. И еще несколько двадцатипятицентовых монет было внесено. Что значит один обед, когда предоставляется возможность получить четверть миллиона долларов?

РОЖДЕСТВО НА КРЫШЕ МИРА

«Торонто Стар Уикли», 22 декабря 1923

Когда было еще темно, служанка Ида, маленькая немочка, вошла в комнату и развела огонь в большой изразцовой печке, и вспыхнувшие сосновые дрова загудели в трубе.

За окном далеко внизу лежало серо-стальное озеро с возвышающимися над ним снежными громадами остроконечных гор, а еще дальше над всем этим тяжелый гребень Дан-дю-Миди сиял от первого прикосновения утра.

На улице было очень холодно. Когда я глубоко вдохнул воздух, я почувствовал, как он влился в меня. Казалось, его можно было пить глотками, как холодную воду.

Я дотянулся ботинком до потолка и громко стукнул. — Эй, Чинк! Рождество!

— Урраа! — донесся голос Чинка сверху из маленькой комнаты под самой крышей шале.

Сама уже встала. Она была в теплом шерстяном халате и толстых лыжных носках из козьей шерсти.

Чинк постучал в дверь.

— С рождеством, *mes enfants* *! — сказал он, широко улыбаясь. На нем тоже был утренний наряд из шерстяного халата и толстых носков, точно мы были членами одного монашеского ордена.

В столовой гудела и потрескивала печка. Сама открыла дверь.

На высокой белой изразцовой печке висели три длинных лыжных носка, раздувшихся странными шишками и буграми. Вокруг печки были сложены коробки, а на полу лежали две новельские блестящие пары ясеневых лыж. Они были слишком длинные, чтобы поместиться под низким потолком шале.

В течение недели каждый из нас совершал таинственные поездки в швейцарский городок, вниз на берег озера. Хэдли и я, Чинк и я, Хэдли и Чинк возвращались в сумерках с загадочными коробками и свертками, которые потом прятались по углам шале. И наконец мы были вынуждены совершить поездки поодиночке. Это было в день накануне рождества. Потом поздно вечером мы тащили жребий, кому первому набивать носки. Каждый поклялся не шпионить.

Чинк с 1914 года проводил рождество в армии. Он был нашим лучшим другом. Впервые за многие годы мы почувствовали, что наступило рождество.

Мы позавтракали, как обычно едят ранним рождественским утром, не разбирая вкуса, поспешно глотая, вскрыли носки до леденца в самом кончике, и сложили в кучу подарки, чтобы потом их разглядеть как следует.

После завтрака мы быстро оделись и помчались по обледенелой дороге в голубовато-белом сиянии альпийского утра. Поезд уже отходил. Мы с Чинком бросили лыжи в багажный вагон, и все трое вскочили на ходу.

Вся Швейцария была в движении. Лыжники — мужчины, женщины, девушки и парни — ехали на поезде вверх в горы в своих плотно облегающих голубых капюшонах, девушки в крагах и бриджах для верховой езды. Они шумели, перекликались друг с другом в забитых до отказа вагонах. Швейцарцы обычно ездят

* Мои детки (фр.).

третьим классом, но по таким большим праздникам, как рождество, третий класс переполнен, и те, кому не хватает места, толпятся в неприкосновенном красноплюшевом первом классе.

Шумный, веселый поезд ползет по склону, карабкаясь вверх к вершине мира.

В Швейцарии на рождество не бывает днем праздничного обеда. Все на улице, в горах, с завтраком в рюкзаках и в предвкушении обеда вечером.

Когда поезд достиг высшей точки подъема, все высыпало наружу, и груда лыж была разобрана и перенесена из багажника в открытый вагон тряского маленького поезда, который побежал вверх прямо по склону горы на своих зубчатых колесах.

С вершины мы увидели весь мир, белый, сверкающий от снега и бесконечные горные хребты, протянувшиеся во всех направлениях.

Здесь начиналась трасса бобслея, которая петляла и кружила в обледенелых изгибах далеко внизу. Мимо нас пронеслись санки, вся команда работала ритмично, а когда они со скоростью экспресса устремились к первому повороту, команда крикнула: «Пронеси!», и санки, описав кривую в ледяной пыли, помчались дальше вниз по зеркальной дорожке.

Как бы высоко вы ни были в горах, всегда найдется склон, поднимающийся вверх.

К нашим лыжам были прикреплены ворсом назад полоски тюленьей шкуры, что позволяло продвигаться по снегу при подъеме. Если бы лыжи начали катиться назад, то это движение предотвратил бы ворс тюленьей шкурки. Лыжи гладко скользят вперед, но в конце каждого рывка притормаживаются.

Вскоре мы поднялись выше отрога горы, которая нам казалась вершиной мира. Мы продолжали идти гуськом, делая длинные зигзаги по гладкому легкому снегу.

Позади остались последние сосны, и мы выехали на плато. Здесь начинался первый спуск длиной в полмили. На краю обрыва показалось, что лыжи ушли из-под ног, и одним рывком мы все вместе камнем упали вниз, как птицы.

На другом склоне мы опять долго карабкались вверх. Солнце нещадно пекло, и мы, обливаясь потом,

изнемогали от жары. Нигде нельзя так загореть, как зимой в горах. И так проголодаться. И так сильно испытывать жажду.

Наконец мы дошли до места завтрака, старого деревянного сарая, занесенного снегом, где летом, когда эта гора превращается в зеленое пастбище, крестьяне держат скот. Все, казалось, исчезло под нами.

Воздух на такой высоте (около 6200 футов) как вино. Мы надели свитеры, которые поднимались с нами, вытащили завтрак и бутылку белого вина и, улегшись на рюкзаках, растворились в солнце. При подъеме на нас были темные очки, защищающие от блеска снежных полей, а теперь мы сняли их и смотрели на этот яркий сверкающий новый мир.

— Мне очень жарко, — сказала Сама. Она сожгла лицо, несмотря на свежий загар и веснушки.

— Тебе надо мазать лицо сажей, — предложил Чинк.

Но вряд ли вы найдете женщину, пожелавшую пользоваться этим популярным среди горнолыжников средством, предохраняющим от снежной слепоты и загара.

После завтрака и легкого дневного сна миссис Хемингуэй, во время которого мы с Чинком отрабатывали повороты и торможение на склоне, пока солнце не отдало весь жар, надо было начать спускаться. Мы сняли тюленьи шкурки и натерли лыжи воском.

А потом одним длинным, стремительным, падающим, душу захватывающим броском оказались внизу. Никакое ощущение в мире не может сравниться с этим семимильным спуском с горы. Вы не делаете семь миль с одинаковой скоростью. Вы едете так быстро, как только можете себе представить, потом вы едете еще и еще быстрее, потом в вашем сознании не остается ничего, потом вы не понимаете, что произошло, но земля приближается и обступает вас со всех сторон, и вот вы уже сидите, освобождаетесь от лыж и озираетесь. Обычно мы падали все вместе. Иногда никого не было видно.

Но ехать некуда, только вниз. Вниз в стремительном, то взлетающем, то ныряющем полете быстрых ясных лыж по легкому, разлетающемуся, как порошок, снегу.

Еще рывок — и мы выскочили на дорогу, проходившую по отрогу горы, где остановился фуникулер. Теперь мы влились в быстро несущийся поток лыжников. Швей-

царцы тоже спускались вниз. Бесконечный поток стремительно неся по дороге.

Дорога крутая и скользкая, и остановиться невозможно, поэтому ничего не остается делать, как беспомощно нырять дальше, точно вы попали в мельничный лоток. Так мы шли вниз. Сама где-то впереди. Временами мелькал ее синий берет, пока не стало совсем темно. Вниз, вниз, вниз по дороге спускались мы в сумерках мимо шале, которые в темноте вспыхивали веселыми рождественскими огоньками.

Потом длинная вереница лыжников устремилась в чернеющий лес, держась одной стороны, чтобы пропустить команду и сани, поднимавшиеся по дороге. Начали чаще попадаться шале с окнами, освещенными свечками рождественских елок. Когда мы, глядя перед собой на обледенелую дорогу и на человека впереди, проскочили шале, мы услышали окрик из освещенной двери.

— Капитан! Капитан! Остановитесь!

Это был швейцарский немец, хозяин нашего шале, в темноте мы чуть не пробежали мимо.

Впереди на повороте мы нашли упавшую миссис Хемингуэй. Притормозив скольльзящим движением лыжи, мы остановились, сбросили их, и уже втроем пошли пешком вверх по холму к огням шале. Огни весело горели на фоне темных сосен, а в доме нас ждала большая рождественская елка и настоящий рождественский обед с индейкой, на столе сверкало серебро, стояли высокие рюмки на тоненьких ножках и бутылки с узкими горлышками, а индейка была большая, поджаристая и красивая, и все десертные тарелочки были выставлены, и Ида прислуживала в новом накрахмаленном фартуке.

Такое рождество возможно только на крыше мира.

РОЖДЕСТВО НА СЕВЕРЕ ИТАЛИИ

Милан, расползшийся, старо-новый, желто-бурый город севера, застыл на декабрьском морозе.

Лисы, олени, фазаны, зайцы висят на витринах мясных лавок. Продрогшие солдаты бредут по улицам с поездов, привезших их на рождественскую побывку. Все пьют горячий ромовый пунш в кафе.

Офицеры всех национальностей, рангов и степеней

трезвости забили кафе «Кова» напротив «Ла Скала», у них одно желание — быть на рождество дома.

Молодой лейтенант полка Ардитти рассказывает мне, какое рождество бывает в Абруццах, «где охотятся на медведей и мужчины как мужчины, и женщины как женщины».

Появляется Чинк с потрясающей новостью.

Потрясающая новость состоит в том, что на улице Манцони есть магазин, торгующий омелой, который содержит «молодость и красота» Милана в благотворительных целях или чего-то в этом роде.

Мы быстро формируем боевой патруль, исключив итальянцев, алкоголиков и все ранги выше майора.

Мы приближаемся к магазину. «Молодость и красота» четко просматривается сквозь стекло витрины. Большой куст омелы висит у входа. Мы вваливаемся гурьбой. Покупка омелы в гигантских размерах закончена. Мы изучаем позицию. Мы удаляемся с огромными букетами омелы и раздаем их уборщицам, нищим, полицейским, политикам и кэбменам.

Мы возвращаемся в магазин. Мы покупаем еще больше омелы. Сегодня грандиозный праздник благотворительности. Мы удаляемся, унося еще больше омелы, которую мы предлагаем проходящим по улице журналистам, владельцам баров, дворникам и трамвайным кондукторам.

Мы снова возвращаемся в магазин. На этот раз «молодость и красота» Милана начинает проявлять к нам интерес. Мы требуем, чтобы нам продали большой куст омелы, что висит у входа в магазин, бывшее здание банка. Мы платим огромную сумму за куст и потом тут же у магазина просим принять его у нас очень благопристойного мужчину в цилиндре и с тростью, который прогуливается по Виа-Манцони.

Очень благопристойный джентльмен отказывается принять наш дар. Мы убеждаем его, что он должен его принять. Он учтиво отказывается. Это слишком большая честь для него. Мы заявляем ему, что для нас это тоже вопрос чести, и он должен принять наш дар. Это — каннадский рождественский обычай. Джентльмен уступает.

Мы вызываем кэб для джентльмена, и все это на виду у «молодости и красоты», помогаем ему забраться на сиденье и кладем огромное дерево омелы позади него.

Он уезжает, рассыпаясь в благодарности и в некотором замешательстве. Люди останавливаются и глазят на него.

К этому времени «молодость и красота» Милана совсем заинтригована.

Мы возвращаемся в магазин и пониженными голосами объясняем, что в Канаде существует определенный обычай, связанный с омелой.

«Молодость и красота» проводят нас в заднюю комнату магазина и представляют патронессам, графине ди Эта, очень толстой и веселой, княгине ди Та, очень худой, костлявой и аристократичной. Это очень почтенные дамы. Нас выводят из задней комнаты и сообщают шепотом, что патронессы собираются через полчаса уйти попить чаю.

Мы удаляемся, унося бездну омелы, которую мы церемонно преподносим старшему официанту «Гран-Италия». Официант тронут этим канадским обычаем и со своей стороны не остается в долгу.

Мы отправляемся в магазин, жуя по дороге чеснок. Под жалкими остатками омелы мы демонстрируем канадский священный рождественский обычай. Наверное, возвращаются патронессы. Нас предупреждают свистом с улицы.

Так правильное предназначение омелы было принесено в Северную Италию.

РОЖДЕСТВО В ПАРИЖЕ

Париж в снегу. Огромные раскаленные докрасна угольные жаровни пылают перед кафе. У столиков в кафе зябко жмутся мужчины с поднятыми воротниками, вертя в руках стаканы с американским грогом, и мальчишки выкрикивают заголовки вечерних газет.

Автобусы грохочут, точно зеленые джаггернауты, сквозь сыплющийся в сумерках снег. Белые стены домов проступают сквозь сумеречный снег. Снег нигде не бывает так красив, как в городе. Хорошо в Париже стоять на мосту через Сену и смотреть сквозь завесу мягко кружащегося снега на серую громаду Лувра, на реку, перекрытую множеством мостов и окаймленную серыми домами старого Парижа, и дальше, где в сумерках дремлет Нотр-Дам.

Очень красиво в Париже, и очень одиноко там на рождество.

Молодой человек и девушка идут по улице Бонапарт со стороны набережной в тени высоких домов к ярко освещенной маленькой улице Якова. В маленьком ресторане на втором этаже, настоящем ресторане Третьей республики с двумя залами, с четырьмя крошечными столиками и кошкой, подаются специальные рождественские обеды.

— Не очень-то все это похоже на рождество, — сказала девушка.

— А мне хочется клюквы, — сказал молодой человек.

Они набрасываются на специальный рождественский обед. Индейка разрезана на странные геометрические порции, в которых немного мяса, огромное количество хрящей и большая кость.

— Помнишь индейку дома? — спросила девушка.

— Не говори об этом, — сказал молодой человек.

Они набрасываются на картошку, поджаренную на жиру.

— Интересно, что сейчас делают дома? — спросила девушка.

— Не знаю, — ответил молодой человек. — Как ты думаешь, вернемся мы когда-нибудь домой?

— Не знаю, — сказала девушка. — Как ты думаешь, повезет ли нам когда-нибудь в искусство?

Хозяин вошел с десертом и маленькой бутылкой красного вина.

— Я совсем забыл про вино, — сказал он по-французски.

Девушка начинает плакать.

— Не думала, что Париж такой, — говорит она. — Я думала, что он веселый, полон света и очень красивый.

Молодой человек обнимает ее. По крайней мере это можно сделать в парижском ресторане.

— Ну, перестань, дорогая. Мы здесь всего три дня. Париж будет другим. Вот увидишь.

Они ели десерт, и никто из них не заметил, что он был слегка подгоревшим. Потом они расплатились и спустились вниз по лестнице на улицу. Снег продолжал падать. И они пошли по улицам старого Парижа, который знал рыскающих волков и охотящихся людей, а высокие

старые дома, которые были тоже свидетелями всего этого, сейчас стояли застывшие и не тронутые рождеством.

Молодой человек и девушка тосковали по дому. Это было их первое рождество на чужбине. Вы не узнаете по-настоящему, что такое рождество до тех пор, пока вы не потеряете его в какой-нибудь чужой стране.

СНЕЖНЫЕ ОБВАЛЫ В АЛЬПАХ

«Торонто Стар Уикли», 12 января 1924

В городе, на дне долины, Андрэ услышал страшный грохот.

Сначала раздался треск, а потом ужасный грохот, как будто наступил конец света.

— Как раз на твоём пути, Андрэ, — сказал почтмейстер значительно.

Двое находившихся на почте тревожно посмотрели на Андрэ.

— Не стал бы там жить, предложи мне хоть все деньги нашего кантона, — сказал один из них.

Почтмейстер рассмеялся:

— Никто так не боится гор, как тот, кто там живет.

Он дал Андрэ пачку газет и отвесил два фунта кислой капусты из бочки.

— Надеюсь все будет в порядке, Андрэ.

— Не беспокойся за меня, — сказал Андрэ и, перекинув за спину рюкзак, открыл дверь на улицу, залитую ярким альпийским солнцем.

Волоча на себе лыжи, привязанные веревкой вокруг пояса, Андрэ начал свой путь на полусогнутых ногах широким шагом горца по обледенелой дороге, которая круто вилась вверх по склону долины. На душе у него было беспокойно. Он знал, что означал этот грохот. Это был снежный обвал.

Весной снежные обвалы происходят периодически. У них есть свои проторенные дороги. Летом можно видеть эти голые полосы, прорезающие лес на отвесном склоне. Большинство весенних обвалов случаются в одно и то же время почти каждый год. Все большие весенние обвалы имеют прозвища. Подобная фамильярность как бы выражает презрение к ним.

Но зимние обвалы не имеют прозвищ. Они обрушиваются неожиданно и грозно и несут смерть.

Итак, Андрэ тяжело тащился вверх по дороге, пока не свернул в направлении, не предвещавшем ему ничего хорошего. Потом он встал на лыжи, застегнул крепления и начал рывками взбираться вверх, держась того подъема, который мог преодолеть, не рискуя скатиться вниз.

Миля за милей он шел на лыжах, которые для жителей гор являются тем же, чем каноэ для индейцев, а снегоступы — для охотников тощих земель Севера. Неожиданно он вышел к повороту в долине и оказался на месте низвержения лавины, грохот которой он слышал в городе. Он поблагодарил бога, что не женился на Эльзе тогда в деревне.

Долина исчезла. Вместо нее был снег, столько снега, сколько Андрэ в жизни не видел. Снег вертикальной стеной в 200 футов стоял перед ним. Гигантский снежный валун, похожий на гребень волны, вздыбленный, замерзший, неподвижный. Стволы деревьев торчали из него.

Направо склон был совсем голый. Оттуда с треском и грохотом лавина сорвалась вниз, наполнив долину своей массой в тысячи тонн. В молниеносном падении, с каким снег съезжает с крыши, она увлекла за собой по дороге весь снег, превратясь в эту гигантскую глыбу.

Андрэ посмотрел на нее снизу вверх и почувствовал себя очень маленьким. «Где же дом, — думал Андрэ. — Ведь он стоял как раз на пути обвала». У Андрэ сжалось сердце. Теперь много времени пройдет, прежде чем он сможет жениться.

Он начал карабкаться по левой стороне долины. Это был очень большой обвал. И он разорил Андрэ. Все же нужно посмотреть, что произошло.

И Андрэ проделал зигзагообразный путь, пока не достиг высоты, с которой обрушилась лавина. Здесь он увидел нечто странное. Около ста ярдов над ним, как раз на склоне долины, противоположном тому, где он его оставил, стоял его дом! Он, правда, несколько покривился. Но он действительно был на той стороне. Это он стоял там. Никакой ошибки.

Андрэ стало жутко. Он не знал, бежать ли ему вниз, в город, или встать на колени. Но он поступил

иначе. Он перекрестился и направился к дому. Это был действительно его дом. Все в порядке. Все на месте. Только немного побилась посуда.

«Ясно, это мне знак, — подумал Андрэ, — что эта сторона долины безопаснее. Весной я здесь вырою новый фундамент. Хорошо было бы, если бы добрый бог передвинул и сарайчик в целости и сохранности!».

Произошло же следующее. Воздушная волна, возникшая при падении лавины, подхватила дом, как будто бы была твердым телом, и переставила его на противоположную сторону долины на триста ярдов от прежнего места.

Снежные обвалы очень редко совершают добрые деяния, подобно этому. Я видел, как металлический мост, весивший, не знаю, сколько тонн, порывом ветра от огромной падающей лавины был поднят на 200 футов над альпийской долиной. И еще я видел плешь на месте леса, который был просто стерт лавиной, а стволы деревьев подрезало под корень, словно это были спички.

Киплинг очень хотел, чтобы Канада называлась «Наша снежная мадонна», но канадцы спокон веку стремятся освободиться от этого названия. Очень много снега в Канаде. Во всяком случае было много до этой зимы. И восточная часть Скалистых гор не знает снежных обвалов.

Некоторые страны считают снег благом, а не чем-то унижающим их достоинство. В горах снег дает возможность спускать лес вниз. Он делает дороги твердыми и гладкими, что позволяет альпийское сено, скошенное и заготовленное еще летом, свозить на больших санях, которыми управляют наклоном туловища, стоя на загнутых вверх полозьях.

Ну, и, наконец, снег привлекает туристов. Он приносит их сотнями тысяч. И в то время как Канада с негодованием отрицает, что она «Снежная мадонна», мы наблюдаем интересное зрелище, как пять европейских государств шумно кричат, что у них больше всего снега и самый глубокий снег во всем цивилизованном мире. Они тратят тысячи долларов, рекламируя свое снежное превосходство. Но об обвалах они умалчивают.

Снежные обвалы — это тайный грех зимнего спорта. Они являются причиной 90 процентов смертей в горнолыжном спорте. Если вам приходилось сидя дома слы-

шать резкий, ухающий звук, когда большая глыба снега срывается с крыши, то вы можете представить, с какой быстротой начинается снежный обвал. Он срабатывает мгновенно, как стальной капкан.

Обычно лыжникам рекомендуют, если их застигнет снежный обвал, попытаться повернуть и бежать вниз по склону и опередить его. Этот совет написан у камина.

Пытаться на лыжах обогнать низвергающийся снег — это все равно, что пытаться убежать от выстрела из направленного вам в спину пистолета. Есть только один способ. Плыть в лавине, как в воде, и пытаться держать голову так, чтобы ее не накрыло снегом. Если вам удастся сбросить лыжи, у вас будет больше шансов остаться в живых. В противном случае крутящийся снег налепится на лыжи и затянет вас.

Если обвал движется по склону горы и разбрасывается в плоской долине, у вас есть все возможности выбраться благополучно. Но если он срывается в глубокое ущелье или в долину с отвесными склонами — несчастен тот лыжник, которого он настигнет: если его не раздавит лавиной, он задохнется в ней.

Хотя зимние обвалы коварнее весенних и их труднее предвидеть, человек, попадающий в них, имеет больше шансов уцелеть, так как только что выпавший зимний снег рыхлый. Один кубический ярд такого снега весит 60 килограммов, а старого, мокрого, весеннего снега — около 750 килограммов. К тому же рыхлый снег полон воздуха, и, находясь в нем некоторое время, вы не задохнетесь. Но весенний снег, тяжелый и мокрый, почти не содержит воздуха. Весь его вес составляет вода, и, если вас не раздавит лавиной, вы утонете в ней.

Многие лыжники оставались целы и невредимы после того, как их пронесло лавиной вниз на сотни футов, если им удавалось держать голову на поверхности и если снег разбрасывался по отлогому склону. Но прошлой зимой молодой человек был убит недалеко от места, где мы катались на лыжах, лавиной, которая протащила его всего на пятьдесят футов. Таким броском его перенесло через пропасть.

Первый снежный обвал в вашей жизни — страшная вещь. Мгновенность — вот что вас потрясает. Вы съез-

жаете на лыжах вниз по склону горы, как вдруг раздается треск. Склон горы, кажется, уходит куда-то в сторону из-под ног, снег нагромождается стремительным потоком скользящих глыб всюду, всюду вокруг вас.

Подобный вид снежного обвала возникает в результате разрыхления нижней толщи снега. Верхний слой затвердевает под действием ветра и превращается в оледенелый наст, который неустойчиво лежит над воздушными ямами или выемки, образующими очаг, и достаточно бегущей лыжей разрезать этот затвердевший наст, чтобы дать начало обвалу.

Но этот вид обвала, конечно, не так опасен, как тот, что сыграл злую шутку с домом Андрэ и который возникает из-за скопления снега на крутых склонах. Однако вы не знаете, что вас ожидает, когда вы катаетесь в незнакомой местности. В высоких Альпах роковым может оказаться и небольшой снежный оползень, который протащит вас всего на двадцать пять футов, тогда как на длинных пологих склонах в Доломитовых горах вы останетесь целы и невредимы, совершив полумилевую поездку в лавине.

Как-то в январе прошлого года, после соревнований по бобслею на трассе в Санлу-ле-Авант, когда мы потерпели поражение, разбив санки об обочину дорожки как раз на последнем, перед самым финишем, ледяном повороте и болезненно переживали неудачу, Джордж О'Нейл-младший и я, желая избежать всяких «вам-счастье-еще-улыбнется», отправились на лыжах в Дандю-Жаман.

Прежде, чем попадешь туда, где можно встать на лыжи, приходится долго тащиться пешком, волоча их на себе по одной из труднейших, то отвесно поднимающихся, то круто спускающихся — словом, скучнейших дорог в мире. Мы вышли в открытую местность, пересекли несколько обвалов, пережив тяжелые моменты, когда прокладывали путь через гигантские сугробы, а затем добрались до длинных покрытых снегом полей на отроге горы. Когда мы были у самой вершины Дана, тупой гранитный пик которой напоминает Маттерхорн в миниатюре, уже стемнело, и нам пришлось спускаться вниз в полной темноте.

В открытой местности все было в порядке. Но как только мы вышли на спускающуюся вниз дорогу, тут-то

мы натворили дел. В темноте на обледенелой дороге мы падали по крайней мере через каждые двадцать ярдов. Мы падали красиво и больно ушибались. Падали на деревья, друг на друга, в сугробы, падали лицом и на спину и еще несколькими новыми стилями.

Кончилось это тем, что у Джорджа соскочила лыжа и упала в отвесное ущелье. Джордж видел при слабом свете луны, как лыжа ударилась о крышу хижины и, притормозив о нее, соскользнула вниз. Остальную часть пути мы проделали пешком.

На следующее утро Джордж вышел из строя, и я отправился без него по нашему следу в спящей снежной пурге. Я тащился из последних сил вверх в гору ради того только, чтобы добраться до места, где прошла лыжа, прежде чем она попала в хижину, и найти след, который она оставила при падении. Хэдли и Изабелл Симмонс шли за мной с завтраком.

Когда я был у края обрыва, откуда упала лыжа, снег перешел в дождь. Самые коварные снежные обвалы происходят во время дождя. Этим объясняется, почему люди не погибают, катаясь в горах на лыжах: ведь всякий, имеющий хоть каплю здравого смысла, не выйдет из дома в дождь.

Чуть заметная трещина виднелась на высоком сугробе, громоздившемся на крыше хижины, которая находилась в 200 футах вниз по крутому склону. Я подумал, что это, должно быть, след, оставленный лыжей. Поэтому я посмотрел, как он шел, и решил, что лыжа, приземлившись, побежала дальше вниз, пока не наткнулась на кусты ивняка, торчавшие в полумиле от меня из русла горного потока, занесенного снегом.

Прямо над дорогой виднелась снежная насыпь, результат работы обвала. Узкая воронкообразная насыпь поднималась от дороги почти отвесно вверх до Кап-о-Муан. Год тому назад я слышал, как обрушился этот обвал. Потом мы пересекали его, он разбросался в русле горного потока.

Дело было плохо. Но, поразмыслив немного, я решил, что, возможно, будет безопаснее, если я сниму лыжи и пойду вниз пешком. Любой склон крутизной более 25 градусов может дать снежный обвал. Но следы серны встречаются на склонах от 40 до 50 градусов. Их копыта проваливаются в снег, а лыжи разрезают его.

Конечно, ничего серноподобного нет в лыжных ботинках сорок пятого размера, но принцип остается тем же. Я спустился к руслу горного потока, и там действительно лежала лыжа, застрявшая в кустарнике.

Всего-навсего надо было взобраться на высоту в полмили, но барахтанье в мокром снегу, доходившем до подмышек, показалось мне вечностью. Надо мной висела прекрасная ловушка первоклассного снежного обвала, уже готового к весне. Пока я взбирался наверх, я думал только о том, что лыжа стоит каких-нибудь пятнадцать франков.

Женщины, промокшие до нитки под теплым весенним дождем, стояли на безопасной стороне дороги. Мы вошли в сарай, построенный на склоне горы в стороне от пути лавины, где хранилось сено, недели сухие свитеры и вынули из рюкзаков термос и бутерброды.

Пока мы сидели в темном сарае, прислонившись к сену, плотно уложенному до самой крыши, и смотрели на дождь через открытую дверь, прошло четырнадцать обвалов. Я считал их. Никого они так не интересовали, как меня, но всем нам очень хотелось добраться до дома. Эти обвалы вызваны теплым дождем. Горцы называют теплый с ветром дождь фёном. Иногда он налетает в середине самой холодной зимы. Он налетает из ниоткуда и возвращается туда же. Иногда он продолжается несколько дней. А иногда только час или около этого. Но он всегда приносит снежные обвалы, а это значит смерть, если выйдешь из дому.

Когда подольше поживешь в горах, начинаешь понимать горцев. Помню, однажды весной мы проходили через Сен-Бернарский перевал незадолго до того, как его открыли. В Бурже, пока Хэдли дремала в гостинице, мы пошли побродить вокруг маленького городка, расположенного на полпути вверх по перевалу. Бурж находится почти у снеговой линии. Там есть маленькое кладбище со множеством могил. На большинстве крестов написано: «Жертва гор».

— Странно, — сказал Чинк, — «Жертва гор». Как будто бы гора — человек.

— Как это, отец? — спросил я священника. — «Жертва гор»?

— Горы — враги людям, живущим среди них, — ответил священник, посмотрев вниз в узкое ущелье, дно

которого перерезала река. — Они не то, что море. Они не помогают человеку. Горы не дают ему средств к существованию.

— Очень странно, отец, — сказал Чинк.

— Да, очень странно, — сказал священник. — Когда человек молод, он всегда ходит высоко в горы. Это все — молодые люди. — И он показал на кресты. — Но с возрастом человек становится мудрее. — Он улыбнулся. — Лучше избегать такого врага, как горы. Но мы все равно никогда не уйдем отсюда. Наверное, этим они тоже показывают, что они наш враг.

КОНРАД — ОПТИМИСТ И МОРАЛИСТ

«Трансатлантик Ревью», октябрь 1924

Что вы можете написать о нем теперь, когда его уже нет?

Критики нырнут в свои вокабулярии и вылезут со статьями на смерть Конрада. Они ныряют уже сейчас, как степные собаки.

Нетрудно будет писать и журналистам: «Смерть Джона Л. Сулливана», «Смерть Рузвельта», «Смерть майора Уитлси», «На смерть сына президента Кулиджа», «Смерть почетного гражданина города», «Уход из жизни Пионера», «Смерть президента Вильсона», «От нас ушел великий писатель» — все едино.

«Поклонники Джозефа Конрада, неожиданная смерть которого является событием всеобщей скорби, прежде всего ценят его как первоклассного художника, замечательного рассказчика и непревзойденного стилиста. Но мистер Конрад был также глубочайшим мыслителем и просветленным философом. В его романах, как впрочем, и в эссе...» и т. д. и т. п.

Все пойдет так и по всей стране.

А что вы можете сказать о нем теперь, когда его уже нет?

Среди моих друзей модно хулить его. Это даже необходимо. Живя в мире литературной политики, где одно неверное мнение часто оказывается роковым, приходится писать осторожно. Помню, однажды мне дали

почувствовать, как легко можно быть изгнанным из их круга и как подвергли остракизму за то, что в разговоре о Джорже Антейле* я откровенно сказал, что предпочитаю Стравинского. С тех пор я стал осторожнее.

Для большинства моих знакомых насколько Конрад плохой писатель, настолько Т. С. Элиот — хороший. Если бы я знал, что сотри я мистера Элиота в мельчайший порошок и посыпью я этим порошком могилу мистера Конрада, от чего мистер Конрад не замедлил бы воскреснуть, раздраженный насильственным возвращением к жизни, и продолжал бы писать, я завтра же чуть свет отправился бы с мясорубкой в Лондон.

Не следовало бы зубоскалить по поводу смерти великого человека, но совершенно невозможно серьезно соединить в одном предложении Т. С. Элиота и Джозефа Конрада точно так же, как невозможно было бы увидеть, скажем, Андре Жермайна и Мануила Гарсиа (Маэра), вместе прогуливающих по улице, и не засмеяться.

Второй книгой Конрада, которую я прочел, была «Лорд Джим». Я не мог ее кончить. И это, следовательно, все, что у меня осталось от Конрада. Ибо я не могу его перечитывать. Возможно, поэтому мои друзья и считают его плохим писателем. Но что бы я ни читал, я не мог получить того, что дала мне каждая книга Конрада.

Поскольку я не могу его перечитывать, я оставил четыре его книги до того времени, пока не почувствую в них сильную потребность и когда отвращение к писанию, к писателям, ко всему написанному и к тому, о чем напишут, достигнет предела. Два месяца в Торонто пошли на эти четыре книжки. Одну за другой я брал их читать у девушки, у которой все книги Конрада стояли на полке в синих кожаных переплетах и которая не прочла ни одной из них. Однако надо быть справедливым — она прочла «Золотую стрелу» и «Победу».

В Садбери, Онтарио, я купил три старых номера «Пикториал Ревью» и прочел «Пирата» в гостинице, сидя на постели. К утру я уже проглотил своего Конрада, как пьяница. А я надеялся, что мне хватит его на все путешествие, и чувствовал себя молодым человеком,

* Американский композитор-авангардист.

промотавшим наследство. Но, думал я, он еще напишет много рассказов. У него есть время.

Потом я читал критику, она единодушно признала «Пирата» плохим рассказом.

А теперь его уже нет, и, о, как мне жаль, что бог не взял какого-нибудь великого признанного ремесленника от литературы, а его не оставил писать свои плохие рассказы.

„ЭСКВАЙР” 1934-1936

СТРЕЛЬБА ИЗ МАШИНЫ — ЭТО НЕ СПОРТ

ВТОРОЕ ПИСЬМО ИЗ ТАНГАНЬКИ

«Эсквайр», июнь 1934

Есть два незаконных способа убить льва. Один — застрелить его из машины, другой — из шалаша или засады ночью, ослепив его фонарем, когда он выходит на приманку, расставленную стрелком или его проводниками. (Стрелками называют туристов, охотящихся в Африке, чтобы отличить их от спортсменов.) Эти два способа охоты на львов имеют такое же отношение к спорту, как глушение форели динамитом или загарпунивание меч-рыбы. И все же многие по возвращении из Африки мнят себя настоящими спортсменами и охотниками на крупного зверя, хотя убивали львов из машины или засады.

В настоящее время равнина Серенгети — самая большая страна львов. В Африке и на равнине Серенгети не обойтись без машины. Из-за удаленности водоемов на огромные расстояния друг от друга вы не можете добраться до них и охотиться пешком, как в былые времена, что, впрочем, и спасло охоту в Африке. Миграции животных, вызванные появлением корма после ливней, которые здесь случаются внезапно и непредвиденно, происходят на сотни миль. Можно проехать семьдесят пять — сто миль по бурой, выжженной и пыльной равнине, так и не увидев ни одного зверя, и вдруг выскочить к цепи зеленых холмов, очерченных и перерезанных черными точками антилоп-гну на огромном пространстве. Поскольку ваш лагерь должен находиться у воды, а животные могут оказаться на расстоянии полудневного перехода от вас на равнине, вы вынуждены, охотясь на Серенгети, пользоваться машиной.

Но вернемся ко львам. У льва, если вы обнаружите его утром после того, как он насытился, будет одно желание при виде человека — скрыться в чаще, где человек не тронет его. Пока лев не ранен, он не опасен, если, конечно, вы не подошли к нему неожиданно и так близко, что испугали его, и если он не занят своей добычей, которую не хочет оставить.

Когда вы приближаетесь к нему на машине, он вас не видит. Его глаза различают только контуры и общий вид предметов, и стрелять во льва из машины незаконно — этот предмет просто ничего не значит для него. Более того, машина может показаться ему миролюбивым предметом, так как ее часто используют для съёмки льва, привязав к буферу убитую зебру в качестве приманки. Для человека стрелять во льва, укрывшись в машине, когда лев даже не видит, что преследует его, не только незаконный, но и трусливый способ уничтожения одного из прекраснейших и замечательнейших животных.

Но, предположим, вы пересекаете равнину на машине, и вдруг видите льва и львицу, скажем, в ста ярдах от себя. Они расположились под мимозой, а за ними тянется, наверное, миль на десять глубокая донга (высохшее русло, заросшее тростником), которая является прекрасным укрытием для всех хищников, выслеживающих стада крупной дичи.

Вы разглядываете львов из машины, берете самца на мушку и находите, что он от вас на расстоянии выстрела. Вам еще никогда не приходилось убивать львов. На равнине Серенгети вам разрешается убить только двух, а вам хочется льва с роскошной гривой и как можно более черной. Белый охотник тихо говорит вам:

— Думаю, что я бы в него попал. Можно было бы прихлопнуть его, но он чертовски хорош.

Вы смотрите на льва, расположившегося под деревом. Он лежит так близко, так спокойно, он такой большой, очень большой и горделиво красивый. Львица распласталась на желтой траве и метет по земле хвостом.

— Начинайте, — говорит белый охотник.

Вы выходите из машины на противоположную от львов сторону, и белый охотник вылезает за вами.

— Лучше сядьте, — говорит он. Вы оба садитесь, и машина отъезжает. Как только машина трогается с места, вы совсем иначе, чем в машине, ощущаете львов.

Когда машина уходит, вы обнаруживаете, что львица поднялась и загордила льва.

— Не вижу его, — шепчете вы. И как только вы это произнесли, вы замечаете, что львы вас увидели. Самец встал, повернулся и затрусил прочь, а самка все еще стоит, широко размахивая хвостом.

— Он сейчас скроется в донге, — говорит белый охотник.

Вы поднимаетесь, чтобы выстрелить, и львица поворачивается вслед за львом. Лев останавливается и оглядывается назад. Его массивная голова покачивается из стороны в сторону, пасть широко открыта, и грива развеивается на ветру. Он смотрит на вас. Вы прицеливаетесь в лопатку, начинаете уклоняться, поправляетесь, и, затаив дыхание, спускаете курок. Вы не слышите выстрела, но слышите треск, точно удар полицейской дубинки по голове демонстранта, и лев лежит.

— Вы попали в него. Следите за львицей.

Она легла, и вам видна ее голова с ушами, прижатыми к затылку, длинное желтое тело, распростертое на земле, и ее хвост теперь уже молотит вверх и вниз.

— Думаю, что она собирается подойти, — говорит белый охотник. — На случай, если она начнет подходить, сядьте и приготовьтесь стрелять.

— Может, ее прикончить? — спрашивает вы.

— Пока не стоит. Возможно, она и не подойдет.

Вы стоите не шевелясь и видите львицу, а за ней громаду льва, теперь уже лежащего на боку, и, наконец, львица медленно встает, поворачивается и исчезает в донге.

— Когда-то, в старое доброе время, — говорит белый охотник, — было правило убивать сначала львицу. Чертовски разумное правило.

Вы вдвоем подходите ко льву с ружьями наготове. Подъезжает машина, и оруженосцы присоединяются к вам. Один из них бросает камень во льва. Он неподвижен. Вы опускаете ружье и подходите к нему.

— Вы попали ему в шею, — говорит белый охотник. — Отличный выстрел.

Из гущи волос его гривы течет кровь, и вокруг этого места вьются мошки. Вас раздражают эти мошки.

— Просто повезло, — отвечает вы.

Вы не говорите о том, что целились в лопатку, а потом вдруг напряжение проходит, и все жмут вам руку.

— Лучше следите за этой почтенной дамой, — говорит белый охотник. — Не заходите далеко в том направлении.

Вы смотрите на мертвого льва, на его массивную голову, на темную жесткую лохматую шерсть его гривы, на длинную гладкую желтую тушу, где под кожей все еще мелко вздрагивают мускулы. Он — красивая шкура и все такое, но каким великолепным зверем он был, когда был жив. Какой позор, думаете вы, что его облепили эти мошки.

Это единственный способ убить льва, используя машину, который может быть приравнен к настоящему спорту. Раз вы уже спешились и машина ушла, охота на льва становится обычной. Если вам не удастся с первого выстрела уложить льва, он уйдет в донгу, и тогда вам придется отправиться за ним. Вначале у вас есть почти все шансы на успех, если вы умеете стрелять и знаете, куда стрелять, при условии, что первый выстрел вы сделаете не в движущегося льва. Но если вы раните льва и он уйдет в чащу, готов держать пари, что лев вас искалечит, когда вы пойдете искать его. Раненый лев в состоянии покрыть расстояние в сто ярдов за такое время, что вы не успеете сделать и двух выстрелов, как он окажется на вас. Получив первую пулю, он не будет испытывать болевого шока от последующих, и вы должны его убить, или он будет продолжать наступать на вас.

Если вы охотитесь, как положено на равнине Серенгети, отпустив машину, вероятнее всего, вам придется сделать первый выстрел в движущегося льва, ибо львы, как только заметят человека, обычно уходят. Поэтому, если вы недостаточно метко стреляете или вас постигнет неудача, ожидайте нападения. Не верьте тому, кто говорит, что охота на львов в наши дни перестала быть настоящим спортом. Вы преследуете огромных гривастых львов, которые, будучи прекрасными трофеями, очевидно уже не раз уходили от преследований и знают, как спасать свою шкуру. Степень опасности будет зависеть от вас, и единственный способ избежать или хотя бы приуменьшить ее — это умение стрелять. Так и должно быть. Вы выходите на льва и хотите убить его с первого выстрела, ибо у вас нет никакого желания оказаться покалеченным. Но куда достойней спортсмена вернуться из Африки без льва, нежели убить его из машины или засады ночью, когда он ослеплен светом фонаря и не видит своего противника.

ЗАМЕТКИ О БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ ПИСЬМО НА ЗЛОБОДНЕВНУЮ ТЕМУ

«Эсквайр», сентябрь 1935

Не в августе и не в сентябре — весь этот год ты можешь убивать время, как тебе нравится. Не в августе будущего года и не в сентябре будущего года — это еще слишком рано. Они еще процветают: и далеки от того момента, когда военные заводы начинают работать на полную мощность; они не станут воевать, если можно делать деньги и без этого. Итак, летом ты можешь рыбачить, а осенью охотиться и вообще делать все, что всегда делал: возвращаться домой по вечерам, спать с женой, ходить на бейсбол, заключать пари, выпивать, когда есть настроение, одним словом, пользоваться привилегиями, доступными каждому, у кого есть доллар или даже десять центов. Но через год или еще через год после будущего года они начнут воевать. Что же произойдет с тобой?

Вначале ты хорошо заработаешь, возможно и так. Но не исключено, что ты ничего не получишь. Правительство получит все. Вот что такое военные доходы в конечном итоге. Если ты на пособии, тебя втянут в эту гигантскую бесприбыльную работу, и с того дня ты станешь рабом.

Если это будет общеевропейская война, тогда мы будем вовлечены в нее: ведь пропаганда (представь себе, как будет использовано для этой цели радио), жадность и желание оздоровить больной организм государства обязательно сделают свое дело. С каждым шагом, направленным в настоящее время на то, чтобы передать всю полноту власти исполнительным органам и тем самым лишить народ права решать все вопросы через своих избранных представителей, мы неумолимо приближаемся к войне. Ибо таким образом устраняется единственно возможный контроль. Ни отдельным лицам, ни группе людей, не подлежащих военной службе, нельзя давать полномочия, которые им так настойчиво предлагаются, решать вопрос о вступлении в войну.

Первое лекарство от всех бед для нации, заведенной правительством в тупик, — инфляция, второе — война. Оба приносят временное процветание, оба ведут к пол-

ному краху. Оба являются лазейкой для политических и экономических оппортунистов.

У нас нет друзей среди европейских государств со времен последней войны, и нет такой страны, за которую бы стоило воевать, кроме своей собственной. Ни ложные идеалы, ни пропаганда, ни стремление поддерживать своих кредиторов, ни чье-либо желание поправить свои дела под видом пресловутого оздоровления государства не должны больше впутывать нас в войну.

Теперь рассмотрим современное положение и выясним, есть ли возможность избежать войны.

Ни одна нация больше не платит долгов. Нет такого государства, которое хотя бы делало вид, что несет ответственность перед другими государствами или отдельными лицами. Финляндия все еще платит нам долги, но это — молодое государство, и она еще успеет превзойти всех. Мы когда-то были молодым государством и превзошли всех. Теперь, когда ни одно государство не платит долгов, нельзя верить на слово. Поэтому мы можем игнорировать любые договоры и соглашения с государствами, если они не соответствуют целиком и полностью ближайшим и самым циничным целям этих стран.

Несколько лет тому назад, поздним летом, из-за итальянских претензий на расширение колониальных владений в Северной Африке, Италия и Франция стянули свои войска вдоль общей границы, чтобы начать военные действия. Любой намек о мобилизации в телеграммах и радиограммах вымарывался цензурой. Корреспондентам, упоминавшим о ней в посланных по почте материалах, угрожала высылка из страны. Эти разногласия были разрешены тем, что Муссолини перенес свои устремления в Восточную Африку и, отказавшись от своих североафриканских планов, очевидно, пошел на сделку с Францией, которая со своей стороны позволила ему развязать войну с независимым суверенным государством, членом Лиги наций, находящимся под ее защитой.

Италия — страна патриотов, и когда дела дома идут плохо, бизнес приходит в упадок, угнетение и налоги становятся нетерпимыми, тогда стоит только Муссолини начать бряцать оружием, как его патриоты в страстном рвении схватить за горло врага забывают про свои до-

машние неприятности. Именно по такому принципу в начале правления Муссолини, когда его личная популярность заметно ослабла, а оппозиция значительно окрепла, было инсценировано покушение на него, что воспламенило истерическую любовь толпы к своему чуть было не потерявшему дуче, и она готова была поддерживать какие угодно реформы и патриотично проголосовала за самые жестокие репрессии против оппозиции.

Муссолини играет на удивительном истерическом патриотизме своих граждан, как скрипач на своем инструменте. Однако, когда Франция и Югославия оказались возможными врагами Италии, он не смог выдать им всего Паганини, потому что он не хотел войны с этими странами, а только угрожал им войной. Он все еще помнит Капоретто, где Италия потеряла 320 000 убитыми, ранеными и без вести пропавшими, из них 265 000 без вести пропавшими, хотя он уже успел воспитать целое поколение молодых итальянцев, верящих в то, что Италия — несокрушимая военная держава.

Теперь Муссолини намерен вести войну с феодальной страной, против босоногого средневекового войска кочевников. Он собирается направить самолеты против народа, у которого ничего нет, применить пулеметы, минометы, газы и современную артиллерию против луков, стрел, копий и туземной конницы, вооруженной карабинами. Конечно, театр военных действий расположен как нельзя более выгодно для победы Италии, и такой победы, которая на продолжительное время отвлекла бы умы итальянцев от их внутренних проблем. Однако допущен просчет: абиссинская армия располагает немногочисленными, но хорошо подготовленными и вооруженными частями.

Франция счастлива, что Муссолини будет воевать. Тот, кто воюет, может быть и побежден. Другое сильнейшее поражение Италии, ее Черное Капоретто, было нанесено этими самыми эфиопами в Адуа*, когда четырнадцатитысячная итальянская армия была уничтожена силой, представляемой теперь Муссолини как 100 000 эфиопов. Конечно, несправедливо требовать победы четырнадцати тысяч над ста тысячами, но суть войны не в том, чтобы сопоставлять свою армию в четырнадцать тысяч со ста тысячами чего бы там ни было.

* Имеется в виду первая итало-эфиопская война 1895—1896 гг.

Однако факт остается фактом, итальянцы потеряли более 4500 белых и 2000 туземных солдат ранеными и убитыми. Тысяча шестьсот итальянцев попало в плен. Потери абиссинцев составили 3000 человек.

Французы помнят Адуа... и знают, что тот, кто воюет, может быть побежден. Дизентерия, лихорадка, жара, плохие дороги и многое другое может привести армию к поражению. Существуют еще и тропические заболевания, переходящие в эпидемию при благоприятных условиях, таких как вторжение иноземных солдат, не привыкших к климату и не имеющих иммунитета против них. Любой, кто ведет войну в районе экватора, может потерпеть поражение только из-за трудности сохранить армию боеспособной.

Франция понимает также, что победит ли, проиграет ли Италия, война обойдется ей дорого, и она уже не в состоянии будет причинить неприятности Европе. Италия без союзников никогда не была серьезным противником, потому что у нее нет ни угля, ни железа. Ни одна страна не может вести войну, не имея угля и железа. За последнее время Италия пыталась преодолеть этот недостаток, создав сильную авиацию, и именно благодаря своим самолетам она сегодня представляет угрозу для Европы.

Англия счастлива, что Италия будет воевать в Эфиопии. Во-первых, не исключено, что Италию побьют и, как полагают англичане, это послужит ей хорошим уроком и продлит мир в Европе. Во-вторых, если она победит, прекратятся набеги абиссинцев на северные границы Кении и на кого-то другого ляжет ответственность запрещать абиссинцам вести их вековую торговлю рабами с Аравией. Тогда Англия несомненно должна будет договориться с возможным победителем о постройке гидроэлектростанции в северо-восточной Эфиопии для орошения своего Судана, чего она уже давно жаждет. Вполне вероятно, что Антони Иден во время своего последнего визита в Рим вел переговоры и в этом направлении. И, наконец, Англия знает, что все, что бы ни нашла Италия в Эфиопии, она будет вывозить через Суэцкий канал или более длинным путем через Гибралтарский пролив. Если же разрешить Японии проникнуть в Эфиопию и таким образом позволить ей укрепиться в Африке, все, что она там получит, пойдет пря-

мо в Японию, и в нужный момент не окажется никакого контроля над вывозом.

Германия счастлива, что Муссолини пытается пожить в Эфиопией. Любое изменение африканского статус-кво открывает дорогу притязаниям Германии на бывшие африканские владения. Возврат колоний, если это удастся, возможно, отсрочит войну на довольно продолжительное время. Германия под властью Гитлера хочет войны, войны-реванша, хочет ее страстно, патриотично и почти религиозно. Франция надеется, что это произойдет прежде, чем Германия станет достаточно сильной. Но французский народ не хочет войны.

В этом различие, в этом и опасность. Франция — страна, Великобритания — несколько стран, но Италия — один человек Муссолини и Германия — один человек Гитлер. А человек честолюбив, он правит государством, пока не попадет в экономические затруднения, и тогда он ищет выхода из них в войне. Народ никогда не хочет войны, пока человек, используя мощь пропаганды, не убедит его в ее необходимости. Пропаганда теперь значительно сильнее, чем когда-либо. Она представляет собой слаженный, разветвленный и хорошо контролируемый механизм, и до тех пор, пока государством управляет один человек, правде там нет места.

Войны теперь возникают не только под действием экономических сил. Войны теперь делаются и планируются отдельными лицами, демагогами и диктаторами, которые, играя на патриотизме своих народов, вводят их в великое заблуждение — войну, когда дутые реформы этих правителей проваливаются и не могут больше удовлетворить обманутый ими народ. И нам в Америке следовало бы понять, что одному человеку, как бы прекрасен и благороден он ни был, нельзя давать полномочия (как бы последовательно они ему ни предлагались) решать вопрос о вступлении в войну, которая сейчас готовится и приближается с неотвратимостью давно и хорошо запланированного убийства. Если вы передадите всю полноту власти исполнительным органам, вы не будете знать, кто будет во главе, когда наступит критический момент.

В старое доброе время писали, как славно и прекрасно умереть за отечество. Но смерть на современной войне отнюдь не славная и не прекрасная. Ты умрешь, как

собака, ни за что. Когда тебе прострелят голову, ты умрешь мгновенно и, возможно, даже славно и прекрасно. Но может быть и так, что тебя ранит в лицевую кость или в зрительный нерв, или сорвет челюсть, нос, щеки, и ты будешь все еще в состоянии думать, но у тебя не будет лица, чтобы говорить. Если тебя не ранит в голову, тебя может ранить в грудь, и ты задохнешься, или в низ живота, и ты почувствуешь, как что-то скользит и перемещается в тебе, а когда ты попытаешься встать, все это выльется наружу (это ранение не считается болезненным, хотя люди обычно сильно стонут, я думаю, от сознания, что они ранены). Или вслед за вспышкой и грохотом снаряда о твердую поверхность дороги ты обнаружишь, что твоей ноги выше колена, или, быть может, ниже колена, или только ступни не стало, и ты глядишь на белую кость, торчащую из-под портянки или глядишь, как с тебя снимают ботинок вместе с ногой, которая превратилась в месиво. Ты узнаешь, как хлопает пустой рукав и как хрустят кости. Ты будешь гореть, задыхаться, блевать, словом, у тебя будет возможность разлететься на куски десятками самых разнообразных способов, и надо сказать, что ничего славного и прекрасного при этом не испытываешь. Но все это мало действует. Еще никогда перечень всех ужасов никого не удержал от войны. До войны ты думаешь, что умрешь не ты. Но и ты умрешь, братец, если повоюешь подольше.

Единственный способ бороться с убийством, то есть с войной, — это разоблачать грязные махинации, которые приводят к ней, и тех преступников и негодяев, что возлагают на нее свои надежды, разоблачать, каким идиотским способом они ведут войну, когда, наконец, дорвутся до нее, разоблачать так, чтобы каждый честный человек потерял к ней всякое доверие, как к любому мошенничеству, и отказался бы участвовать в ней.

Если бы войны велись теми, кто хочет воевать и знает, что делает, и это им нравится, или хотя бы теми, кто понимает, за что воюет, то война могла быть хоть как-то оправдана. Но те, кто хочет идти на войну, те немногие, погибают в первые же месяцы, и всю остальную войну проходят солдаты, которых принудили взять оружие и научили бояться верной смерти от руки своих офицеров, если они посмеют дезертировать, бояться больше, чем

другой возможной смерти на передовой или в атаке. В конце концов после того, как они получают изрядную порцию огня и снарядов, страх берет верх, и эти солдаты бегут. Если им удастся выйти из полного повиновения своим офицерам, то война для такой армии окончена. Была ли в прошлую войну хоть одна армия союзников, которая рано или поздно не разбежалась бы? Здесь не место заниматься перечислением.

Современную войну не выигрывают, потому что она ведется до предела, когда все стороны должны потерпеть поражение. Солдаты, что воюют в конце войны, не способны победить. Все дело в том, чье правительство выдохнется первым, или на чью сторону встанет новый союзник со свежими силами. Иногда союзники полезны. Иногда они — Румыния.

Современная война не знает Победы. Последнюю войну выиграли союзники, но в маршировавших на парадах полках были не те солдаты, что воевали. Те солдаты мертвы. Было убито более семи миллионов, и убито значительно больше, чем семь миллионов, сегодня истерично мечтают бывший ефрейтор германской армии и бывший летчик и морфинист*, сжигаемые личным и военным честолюбием в дурмане мрачного, кровавого, мистического патриотизма. Гитлеру не терпится развязать в Европе войну. Он — бывший ефрейтор, и в этой войне он не будет воевать, только произносить речи. Ему самому нечего терять. Зато он может получить все.

Муссолини тоже бывший ефрейтор, но он также бывший анархист, великий оппортунист, он же и реалист. Он не хочет войны в Европе. Он будет разыгрывать в Европе фарс, но воевать там никогда не станет. Он все еще помнит, что такое война, и как он вышел из нее в результате несчастного случая, получив ранение итальянским снарядом, и вернулся к газетной работе. Он не хочет воевать в Европе, потому что знает, что тот, кто воюет, может проиграть, если, конечно, не подстроить войну с Румынией. Он знает, что первый диктатор, который спровоцирует войну и проиграет ее, положит конец диктаторству для себя и для своих сынков на долгое время. Но поскольку для существования его режима война необходима, он избрал Африку театром военных дей-

* Имеется в виду Геринг.

ствий и единственную там независимую страну своим противником. К сожалению, абиссинцы — христиане, и эта война не будет Священной. Пока его «фиаты» упражняются в Эфиопии, он может, конечно, отменить рабство на бумаге. Бесспорно, в итальянском военном колледже эта война представляется как верная, быстрая и идеальная кампания. Но возможно, что режим и правительство падут именно из-за этой верной и идеальной кампании раньше, чем через три года.

Немецкий полковник по имени фон Леттов-Форбек с 5-тысячной армией, в которой было только двести пятьдесят белых солдат, воевал в Танганьике и Португальской Африке против 130-тысячной армии союзников более чем четыре года, что обошлось союзникам в 72 000 000 фунтов стерлингов. В конце войны продолжали повсеместно действовать его партизанские отряды.

Если абиссинцы предпочтут партизанскую войну миру, то не исключено, что Эфиопия превратится в незаживающую рану на боку Италии, истощит ее казну, ее молодость, продовольствие и вернет ей армию, большую и ожесточившуюся от страданий и против правительства, пославшего ее на эти страдания, наобещав славу. Именно потерявшие иллюзии солдаты способны низвергать режимы.

Возможно, что война в Африке продлит мир в Европе. За это время может что-нибудь произойти с Гитлером. Но мерзкую кашу, которую заварил Европа, нам не стоит расхлебывать. Европа всегда воевала, передышки — это только время заключения перемирий. Мы уже однажды свалили дурака и ввязались в европейскую войну, и нам не следует этого больше повторять.

НА ГОЛУБОЙ ВОДЕ ГОЛЬФСТРИМСКОЕ ПИСЬМО

«Эсквайр», апрель 1936

Конечно, никакая охота не похожа на охоту за человеком, и те, кто долго охотился на вооруженных людей и вошел во вкус, уже не способны ничем по-настоящему увлечься. Можно наблюдать, как они решительно берутся за самые разнообразные дела, но не испытывают к

ним никакого интереса, потому что теперь для них нормальная обычная жизнь такая же пресная, как вино, когда сожжены вкусовые сосочки языка. Вино, если обжечь язык раствором щелока, ощущается во рту, как вода из лужи, а горчица — как колесная мазь, и вы можете чувствовать запах хрустящего поджаренного бэкона, но на вкус он будет как пересушенное свиное сало.

Вы можете узнать об этом, заглянув поздно вечером на кухню виллы на Ривьере и выпив там по ошибке вместо минеральной воды Eau de Javel — концентрат щелока для чистки раковин. Вкусовые сосочки вашего языка, если их обжечь Eau de Javel, начнут функционировать через неделю. Как скоро восстанавливается все остальное, неизвестно, поскольку со временем теряешь связь с друзьями.

Как-то вечером я разговаривал с одним своим приятелем, для которого не существует никакой другой охоты, кроме охоты на слонов. Для него настоящий спорт там, где есть серьезная опасность, и, если опасность недостаточно велика, он сам усилит ее, чтобы получить удовлетворение. Его товарищ по охоте рассказывал, как этот мой приятель был не удовлетворен обычной охотой на слонов и поэтому старался загнать слонов или обойти их так, чтобы встретиться с ними в лоб. Таким образом он вынужден был убивать их самым трудным выстрелом в упор, когда они, развевая уши и трубя хоботом, наступали на него, грозя его раздавить. Это имеет такое же отношение к охоте на слонов, как немецкий культ самоубийственного восхождения к обычному альпинизму. Все это — попытки в какой-то степени воссоздать обстановку былой охоты на вооруженного человека, охотящегося за тобой.

Этот мой приятель подбивал меня заняться охотой на слонов и говорил, что для меня тогда перестанут существовать все остальные виды охоты. Я сказал ему, что мне любо рыбачить и охотиться на все, что подвернется, и совсем не хочется уничтожить эту способность получать удовольствие Eau de Javel старого слона, наступающего с поднятым хоботом и развевающимися ушами.

— И ты увлекаешься охотой на большую рыбу, — сказал он весьма разочарованно. — Честно говоря, я не

понимаю, от чего там можно получить удовольствие.

— Ты пришел бы в восторг, если бы рыба выскакивала на тебя с пулеметами «Томми» или же прыгала по кубрику с мечом на носу.

— Не болтай глупостей, — сказал он, — честно, я не понимаю, в чем там острота ощущений.

— Возьми хотя бы Такого-то, — сказал я, — он страстный охотник на слонов, а в прошлом году ходил на ловлю большой рыбы и просто помешался на этом. Наверное, ему нравится, иначе бы он не стал заниматься этим.

— Да, — сказал мой друг, — должно быть в этом что-то есть, но я просто не понимаю что. Объясни, в чем там острота ощущений.

— Я попытаюсь как-нибудь написать об охоте на большую рыбу, — ответил я ему.

— Очень бы хотелось, — сказал он. — Вы, писатели — народ понимающий. Правда, тоже до известного предела.

— Напишу.

Прежде всего Гольфстрим и другие океанские течения — это последние девственные области на земле. Как только скрылся из виду берег и другие лодки, ты оказываешься более оторванным от мира, чем на охоте, а море такое же, каким оно было до того, как человек впервые вышел в него на лодке. Когда рыбачишь, ты можешь увидеть его маслянисто гладким, каким его видели заштилевшие галеоны, дрейфуя на запад; в белых барашках, нагоняемых легким бризом, каким они его видели, когда шли под пассатом; и в высоких катящихся голубых валах, когда море наказывало их, а ветер срывал их паруса, как снег. Так и ты иной раз можешь увидеть три гигантских вала, и твоя рыба выскакивает с вершины самого дальнего, и если ты попробовал бы пойти за ней, не раздумывая, один из этих гребней обрушил бы на тебя все свои тысячи тонн воды, и ты уже больше не пошел бы охотиться на слонов, друг мой Ричард.

Сама по себе рыба не опасна. Да и все, кто выходит круглый год в море на маломощных суденышках, не ищут опасности. Но можешь быть уверен, что в течение года ты обязательно с ней встретишься, поэтому ты

и стараешься делать все, что в твоих силах, чтобы избежать ее.

Ибо Гольфстрим — неисследованный край. Рыбаки ловят только по самой границе да еще в отдельных местах этого тысячемильного течения, и никто не знает, что за рыба живет там, каких размеров, какого возраста и даже какие виды рыб и животных обитают на разных глубинах. Когда тыловишь далеко от берега на четыре леса, установленные на шестьдесят, восемьдесят, сто и сто пятьдесят морских саженей в море, имеющем глубину до семисот саженей, ты не знаешь, что пойдет на маленького тунца, которого используешь как наживку. Поэтому каждый раз, когда леса начинает разматываться с катушки, сначала медленно, потом с визгом, и ты чувствуешь, что удилице сгибается вдвое, чувствуешь силу сопротивления леса, прорывающейся сквозь эту глубину, и ты сматываешь и освобождаешь ее, сматываешь и освобождаешь, стараясь снять с нее лишнюю тяжесть, прежде чем рыба начнет свои прыжки, тебя всегда охватывает волнение, и не надо опасаться, чтобы усилить его. Возможно, что направо от тебя четко и красиво взлетит в воздух марлин, и пока ты кричишь, чтобы катер направили к рыбе, она уже начинает уходить в серии прыжков, разрезая воду, точно быстроходная лодка, и катер не успевает развернуться, как леса исчезает с катушки. Возможно, что появится меч-рыба, помахивая своим мечом. Или какая-то другая рыба, и ты так и не увидишь ее, потому что она устремится на северо-запад, точно погруженная подводная лодка, и после пяти часов борьбы рыболову остается лишь выпрямившийся крючок. Тебя всегда охватывает волнение, когда рыба на крючке, и ты тянешь ее откуда-то из глубины.

На охоте ты знаешь, что выслеживаешь, и предел всему — слон. Но разве можно знать, что попадется на крючок, когда удишь на глубине ста пятидесяти саженей в Гольфстриме? Это может быть марлин или меч-рыба, что сравнению с которыми все рыбы, какие мы видели пойманными, пигмеи, и каждый раз, когда рыба берет наживку, тебе кажется, что ты сам попался на крючок одной из этих громадин.

Карлос, наш кубинский приятель, пятидесятитрехлетний рыбак, ловит марлин с семи лет, с того дня, когда

вместе с отцом вышел первый раз в море на носу лодки. Однажды, опустив лесу на большую глубину, он поймал белого марлина. Рыба, дважды подпрыгнув, нырнула, и когда она погрузилась, Карлос вдруг почувствовал огромную тяжесть и не смог удержать лесу, которая все убегала, убегала и убегала за борт, пока рыба не ушла на сто пятьдесят сажений. Карлос рассказывал, что у него было такое ощущение, будто его прицепили крючком к самому дну моря. Потом неожиданно напряжение ослабло, но он по-прежнему чувствовал вес своей рыбы и вытянул ее мертвой. Оказалось, что беззубая рыба, не то меч-рыба, не то марлин, зажав в своей пасти восьмидесятифунтового белого марлина и сдавив его так, что все его внутренности вылезли наружу, утащила его в море. Наконец она отпустила его. Каких размеров была эта рыба? Я решил, что это был гигантский осьминог, но Карлос сказал, что не осталось никаких следов от его щупалец, и что там, где он схватил восьмидесятифунтового белого марлина, был отпечаток пасти марлина.

В другой раз у Кабаньяса старик поймал огромного марлина, который утащил его лодку в море. Через два дня старика подобрала рыбаки в шестидесяти милях в восточном направлении. Голова и передняя часть рыбы были привязаны к лодке. То, что осталось от рыбы, было меньше половины и весило восемьсот фунтов. Старик не расставался с рыбой день и ночь и еще день и еще ночь, и все это время рыба плыла на большой глубине и тащила за собой лодку. Когда она всплыла, старик подтянул к ней лодку и ударил ее гарпуном. Привязанную к лодке, ее атаквали акулы, и старик боролся с ними совсем один в Гольфстриме на маленькой лодке. Он бил их багром, колот гарпуном, отбивал веслом, пока не выдохся, и тогда акулы съели все что могли. Он рыдал, когда рыбаки подобрала его полуобезумевшего от своей потери, а акулы все еще продолжали кружить вокруг лодки.

Но что за удовольствие ловить рыбу с катера? Его получаешь от того, что рыба — существо удивительное и дикое — обладает невероятной скоростью и силой, а когда она плывет в воде или взвивается в четких прыжках, это — красота, которая не поддается никаким описаниям, и чего бы ты не увидел, если бы не охотился

в море. Вдруг ты оказываешься привязанным к рыбе, ощущаешь ее скорость, ее мощь и свирепую силу, как будто ты едешь верхом на лошади, встающей на дыбы. Полчаса, час, пять часов ты прикреплен к рыбе так же, как и она к тебе, и ты усмиряешь, выезжаешь ее, точно дикую лошадь, и в конце концов подводишь к лодке. Из гордости и потому, что рыба стоит много денег на гаванском рынке, ты багришь ее и берешь на борт, но в том, что она в лодке, уже нет ничего увлекательного; борьба с ней — вот что приносит наслаждение.

Если крючок вошел в костистую часть пасти рыбы, я уверен, что он причиняет ей такую же боль, как рыбаку его снаряжение. Иногда большая рыба совсем не чувствует крючка и подплывает к лодке, чтобы взять еще наживку, не ведая, что попалась. Иногда она уходит с ним глубоко в море. И вот тут-то она начинает ощущать, что какая-то сила держит ее, давит на нее и управляет ею, и она затевает борьбу, но не из-за боли, а чтобы освободиться. Когда она исчезает под водой, ты представляешь, что она делает, в каком направлении тащит тебя там, на глубине, и ты подчиняешь ее себе и подводишь ее к лодке точно так, как выезжают норовистых лошадей. Для того чтобы подтянуть рыбу к лодке, нет необходимости убивать или совершенно истощать ее.

Чтобы убить рыбу, оказывающую сопротивление на большой глубине, надо тянуть ее в направлении, обратном тому, в котором она хочет уйти, пока она не устанет и не умрет. Много часов требуется для того, чтобы убить рыбу, и, когда она умрет, акулы могут напасть на нее прежде, чем рыбак поднимет ее на поверхность. Чтобы поймать большую рыбу быстро, ты, стараясь держать ее как можно крепче, соображаешь, в каком направлении она движется (на глубине рыба плавает в направлении уклона леса в воде, если ты завинтишь тормоз до отказа так, что еще одно усилие — и леса оборвется), потом обгоняешь ее. Таким образом, рыбу можно подтянуть к лодке, не убивая. Ты не тянешь ее на буксире за катером, ты используешь мотор, чтобы менять свое положение, точно идешь с лососем вверх или вниз по реке. Рыбу легче поймать с маленькой лодки такой, как плоскодонка. На ней рыбак может прекратить работу на веслах и позволить рыбе тянуть лод-

ку. Буксировка лодки в конце концов убьет ее. Но самое большое удовлетворение получаешь, когда овладеешь рыбой, подчинишь ее себе и подведешь ее как можно быстрее к лодке совсем неповрежденной, а только сломленной духом.

— Очень поучительно, — говорит мой друг. — Но где же острое ощущение?

Острое ощущение охватывает тебя, когда ты, стоя за рулем, попивая холодное пиво и глядя, как утлегары подбрасывают наживку, похожую на живых маленьких тунцов, выскакивающих из воды, вдруг замечаешь позади одного из них длинную скользкую тень, потом выстреливает большое копьё, за ним голова, плавник, спина и — тунец подпрыгивает на волне, и рыба промахивается.

— Марлин! — вопит Карлос с крыши рубки и топает ногами — сигнал, обозначающий, что рыба поднялась. Он карабкается вниз к штурвалу, а ты возвращаешься назад туда, где удилище стоит в своем гнезде, и тень появляется снова. Она движется ужасно быстро, точно тень самолета, летящего над водой. Потом копьё, голова, плавник и спина разрезают воду, и ты слышишь, как щелкает предохранитель катушки, и леса начинает разматываться, слышишь, как длинный трос с шипением рассекает воду, когда рыба поворачивается. Ты чувствуешь, как удилище сгибается вдвое, и его толстый конец бьет тебе в живот. А ты изо всех сил стараешься удержать рыбу, чувствуешь ее вес, когда подсекаешь ее опять, и опять, и опять.

Тяжелое удилище изгибается дугой по направлению к рыбе, катушка визжит, как ножовка, а рыба, сверкая серебром на солнце, взвивается в четком и длинном прыжке, огромная и круглая, как бочка, перевитая сиреневыми кольцами, а когда она падает в воду, разбрасывается столб водяных брызг, как при разрыве снаряда.

Потом она поднимается, вспенивая воду, и напряжение лесы слабеет. Рыба взлетает, устремляясь вперед, ныряет, а потом снова дважды подпрыгивает со свирепой силой, и кажется, что она повисла высоко и неподвижно в воздухе, а когда она падает, выбрасывая фонтан воды, ты замечаешь крючок в углу ее пасти.

Потом в серии прыжков, как борзая, она направляет-

ся на северо-запад, и ты идешь за ней на катере. Леса натянута туго, точно струна банджо, и по ней прыгают маленькие капли воды. Наконец тебе удастся смотать лесу и ослабить трение лесы о воду, и тогда ты делаешь резкий рывок к рыбе.

Все это время Карлос кричит:

— О боже, хлеб моих детей! Иосиф и Мария! Посмотрите, как хлеб моих детей прыгает! Вон идет хлеб моих детей! Она никогда не остановится! Хлеб, хлеб, хлеб моих детей!

Этот полосатый марлин прыгал на натянутой прямой лесе в северо-западном направлении пятьдесят три раза, и каждый раз, когда он выскакивал из воды, это было такое зрелище, от которого замирало сердце. Когда рыба ушла под воду, я сказал Карлосу:

— Дай мне снаряжение. Теперь надо вытащить хлеб твоих детей.

— Я не мог смотреть, — говорит он, — как этот набитый бумажник прыгал. Теперь она не может уйти влево. Она наглоталась слишком много воздуха.

— Прыгала, точно скаковая лошадь брала препятствия, — говорит Хулио. — Что, снаряжение в порядке? Воды не хочешь?

— Нет. — Потом подтрунивая над Карлосом: — Что ты там о хлебе твоих детей?

— Он всегда так, — говорит Хулио. — Ты бы слышал, как он меня ругал однажды, когда мы чуть было не упустили марлина.

— Сколько будет весить хлеб твоих детей? — спрашиваю я. Во рту сухо, снаряжение трет плечи, удилище — гибкое, податливое продолжение руки — вызывает страшную боль в мускулах, в глазах соленый пот.

— Четыреста пятьдесят, — говорит Карлос.

— Не близко, — говорит Хулио.

— Ты и твоя рыба не близко, — говорит Карлос, — рыба другого всегда ничего не весит в сравнении с твоей.

— Триста семьдесят пять, — повышает свои подсчеты Хулио, — и ни фунта больше.

Карлос произносит что-то нецензурное, и Хулио доходит до четырехсот.

Рыба почти побеждена, и смертельная боль от подъема ее на поверхность начинает утихать, как вдруг,

когда я ее еще поднимаю, чувствую, как что-то падает. Еще мгновение — и леса слабеет.

— Она ушла, — говорю я и расстегиваю снаряжение.

— Хлеб твоих детей, — говорит Хулио Карлосу.

— Да, хлеб, — отвечает Карлос. — Это шутка и не шутка. El pan de mis hijos *. Триста пятьдесят фунтов по десять центов за фунт. Зимой сколько дней нужно, чтобы заработать их? А как бывает холодно в три часа утра! И туман, и дождь севернее! Каждый раз, когда она прыгала, крючок увеличивал дырку в ее челюсти. Но все равно как она прыгала! Как она прыгала!

— Хлеб твоих детей, — говорит Хулио.

— Хватит об этом, — отвечает Карлос.

Нет; это не охота на слонов, но нам это по душе. Когда у тебя есть семья и дети, твоя семья, семья, как у меня или у Карлоса, тебе не надо искать опасности. Если есть семья, всегда много опасностей.

И, в конце концов, опасность, существующая для других, — это единственная опасность, и нет ей конца, и нет в ней удовольствия, и сколько ни думай о ней, все равно легче не станет.

Но какое наслаждение быть в море, какое наслаждение во внезапном появлении неизвестной рыбы, в ее жизни и смерти, которую она проживает за час для тебя, когда твоя сила сливается с ее, и какое удовлетворение получаешь, покорив это существо, правящее морем.

Потом утром на следующий день после того, как ты поймал хорошую рыбу, человек, отвезший ее на тележке на рынок, приносит на катер много тяжелых серебряных долларов, завернутых в газету. Эти деньги тоже приносят удовлетворение. Они похожи на настоящие деньги.

— Это хлеб твоих детей, — говоришь ты Карлосу.

— В то время, когда ворочали миллионами, — говорит он, — такой рыбе, как эта, цена была двести долларов. Теперь тридцать. А рыбак все равно никогда не голодает. Море очень богатое.

— А рыбак всегда беден.

— Нет. Взять хотя бы тебя. Ты богатый.

— Чертовски, — говоришь ты, — и чем дольше я

* Хлеб моих детей (исп.).

рыбачу, тем беднее становлюсь. Кончу тем, что вместе с тобой буду ловить для рынка на шлюпке.

— В это я никогда не поверю, — говорит Карлос искренне. — А на шлюпке рыбачить очень здорово. Тебе понравилось бы.

— Ужасно хочется, — отвечаешь ты.

— Что нам нужно для процветания — так это война, — говорит Карлос. — Во время войны с Испанией и в последнюю войну рыбаки действительно разбогатели.

— Ну что ж, — говоришь ты, — как только война начнется, готовь шлюпку к выходу в море.

ИСПАНСКАЯ ВОЙНА

ПЕРВЫЕ ВОЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

НАНА, 18 марта 1937

ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ. Когда самолет военно-воздушных сил, на котором мы летели из Тулузы, пошел на спуск над торговым кварталом Барселоны, на улицах там было пусто. Так же пустынно, как в деловом центре Нью-Йорка в воскресное утро.

Самолет мягко коснулся бетонной дорожки и с ревом подкатил к маленькому строеньицу, где мы, продорогшие после перелета над снежными хребтами Пиренеев, грели руки о чашки кофе с молоком, а у входа толклись трое часовых в кожаных куртках с пистолетами. Там мы узнали, почему Барселона выглядела такой удручающе пустынной.

Только что пролетел трехмоторный бомбардировщик в сопровождении двух истребителей и сбросил свой груз бомб на город. Погибло семь и ранено тридцать четыре человека. На каких-нибудь полчаса мы опоздали, а то влетели бы в самый разгар воздушного боя, в котором самолеты мятежников были отбиты республиканскими истребителями. Лично я не очень огорчился. Мы сами были на трехмоторном, и могла произойти пу-таница.

Мы летели в Аликанте низко над побережьем, вдоль белых пляжей, над городами с серыми замками, над морем, волнами набегаящим на скалистые утесы. Там не было никаких признаков войны. Шли поезда, пахала пашни скотина, рыбацьи лодки дрейфовали в море, из фабричных труб валил дым.

Потом уже над Таррагоной все пассажиры столпились у борта, с которого был виден берег, разглядывая в узкие окошки накренившуюся посудину грузового судна, явно поврежденного артиллерийским обстрелом. Судно причалило к берегу, чтобы разгрузиться. Оно село на мель, и лежа на песке, в этой прозрачной воде, походило на кита с дымовыми трубами, приплывшего к берегу умирать.

Мы пролетали над тучными плоскими темно-зелеными полями Валенсии с белыми пятнами крестьянских домов, над оживленным портом и над огромным желтым расплзшимся городом. Потом пересекли рисовые

низины, и набрав высоту, полетели над цепью диких гор, взирая на цивилизованный мир с высоты орлиного полета, а потом резко, так что в ушах затрещало, спустились вниз, к ослепительному синему морю у берега Аликанте, обозначенного рядами пальм, совсем как в Африке.

Самолет полетел дальше в Марокко, а я из аэропорта отправился в Аликанте, трясясь в ветхом автобусе. Я прибыл туда в самый разгар торжества, которое поглотило красивую набережную с рядами финиковых пальм вдоль моря и забило все улицы бурлящим водоворотом толпы.

Молодые люди от двадцати одного до двадцати шести лет призывались в армию, и они со своими девушками и семьями праздновали мобилизацию и победу над итальянскими регулярными частями на Гвадалахарском фронте. Молодые люди, шагая шеренгами, пели, кричали, играли на аккордеонах и гитарах. Прогулочные лодки в порту Аликанте были набиты парочками, которые, держась за руки, совершали свою последнюю поездку вдвоем. А на берегу там, где перед призывными пунктами выстроились длинные очереди, царил атмосфера буйного ликования.

По всему побережью, когда мы ехали в Валенсию, мы пробирались сквозь праздничные толпы людей, которые скорее напоминали мне о старом добром времени феерий и фиест, чем о войне. Только выздоравливающие раненые, прихрамывающие в тяжелых суконных формах народной милиции, делали войну реальной.

Продукты, в особенности мясо, отпускаются в Аликанте в ограниченном количестве, но в маленьких городишках по дороге я видел, что лавки мясников открыты и мясо продается безо всякой очереди. Наш шофер решил купить хороший бифштекс на обратном пути.

Когда мы в полной темноте въезжали в Валенсию через цветущие апельсиновые рощи, растянувшиеся на целые мили, запах цветов, тяжелый и сильный, несмотря на дорожную пыль, напомнил вашему полусонному корреспонденту о свадьбе. Но даже в полусне, ловя мелькавшие сквозь пыль огни, было ясно, что не итальянскую свадьбу там празднуют.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБСТРЕЛ МАДРИДА

НАНА, 11 апреля 1937

МАДРИД. На фронте, в миле с четвертью от города, с противоположного зеленого склона горы, густо поросшего сосняком, доносилось тяжелое кашляющее урчание. Только серые змейки дыма обозначали расположение батарей мятежников. Потом прорывался поток высокого нарастающего звука, точно раздирали рулон шелка. Все эти снаряды направлялись на город, и потому здесь никто не обращал на них внимания.

Но в городе, где улицы запрудила воскресная толпа, снаряды рвались с мгновенной вспышкой, как при коротком замыкании, а потом раздавался оглушительный треск рассыпавшегося гранита. За утро двадцать два снаряда попало в Мадрид.

Убило старуху, возвращавшуюся с рынка, и она, упав, превратилась в беспорядочную грудку черной одежды, одна нога ее, вдруг отделившись от туловища, крутилась у стены соседнего дома.

Убило трех человек на другой площади, и они лежали в пыли и щебне, точно разорванные на мелкие кусочки узлы старого тряпья, после того как осколки снаряда «155» ударили в обочину тротуара.

Вслед за яркой вспышкой и грохотом машина, ехавшая по улице, неожиданно остановилась, круто свернув в сторону. Шофер, шатаясь, вышел из нее. Кожа с волосами сползла ему на глаза. Он сел на тротуар, прижав руки к лицу, и кровь, разливаясь, стекала по подбородку вниз.

Три раза снаряды попали в самое высокое здание. Артиллерийский обстрел этого здания законен, так как оно — центр связи и ориентир, но обстрел горизонтальной наводкой, выскивающий себе подходящую цель в воскресной толпе, был явно не военного характера.

Когда огонь прекратился, я вернулся на наш наблюдательный пункт — он находится в десяти минутах ходьбы от меня — в разрушенном доме и продолжал следить за третьим днем сражения, в котором республиканские войска пытаются завершить окружение, чтобы отрезать клин мятежников, брошенный на Мадрид в прошлом году в ноябре. Вершина клина — здание гос-

питался в Университетском городке, и если республиканцам удастся осуществить двухсторонний обход с Эстремадурской дороги на Корунскую, этот клин будет целиком ликвидирован.

Холм с разрушенной церковью, разрушенной на наших глазах два дня назад сплошным артиллерийским огнем, выглядел теперь как три стены без крыши. Два больших дома внизу по склону и три поменьше налево от них, где укрепились мятежники, сдерживают продвижение республиканских войск.

Вчера я наблюдал атаку на эти позиции, когда республиканские танки, работавшие как беспощадные разумные жуки, смяли пулеметные точки в густом подлеске, а артиллерия обстреливала здания и окопы мятежников. Мы наблюдали бой, пока не стемнело, но пехота так и не перешла в наступление на этих сильно укрепленных пунктах.

Но сегодня после пятнадцатиминутного ураганного артиллерийского огня, который скрыл эти пять домов в клубящемся бело-оранжевом облаке пыли и дыма, я наблюдал атаку пехоты.

За меловой линией свежевырытых траншей лежали бойцы. Вдруг один побежал, низко пригнувшись, к тылу. За ним еще шестеро, и я увидел, как один упал. Потом четверо вернулись назад, и, наклонившись корпусом вперед, как люди ходят по пристани под проливным дождем, нестройная цепь пошла в наступление. Некоторые припадали, чтобы укрыться. Другие неожиданно опускались на землю и оставались лежать темно-синими пятнами на буром поле, как часть пейзажа. Потом пехота уже была в подлеске и исчезла из виду, а танки все продолжали наступать и обстреливать окна домов.

Из-за осевшей дороги стремительно взвился столб пламени, что-то горело желтым огнем с черным маслянистым дымом. Это продолжалось сорок минут, и пламя то поднималось, то рассеивалось, а потом опять стремительно взвивалось, и наконец, раздался взрыв. Возможно, что это был танк. Ничего не было видно из-за провала в дороге, но другие танки прошли дальше и повернули направо, продолжая вести огонь по домам и пулеметным позициям за деревьями. Пехотинцы перебегали по одному мимо пламени, а потом по склону, мимо домов, и исчезали в лесу.

Пулеметная очередь и ружейная стрельба слились в сплошной стрекочущий звук, и мы увидели еще один танк с движущейся за ним тенью, которая в бинокле оказалась плотным каре солдат. Танк резко остановился и повернул направо, туда, где до этого, низко пригнувшись, перебежали по одному пехотинцы.

Танк направился в лес и скрылся из виду, последовавшие за ним пехотинцы прошли невредимо.

Потом опять начался интенсивный артиллерийский огонь, и мы следили за атакой в сумерках, и уже ничего нельзя было разобрать в бинокль, кроме облаков известкового дыма, когда снаряды попадали в дома. Когда в темноте уже ничего не стало видно, республиканские войска находились в пятидесяти ярдах от домов. Исход наступления, цель которого — освободить Мадрид от фашистской угрозы, зависит от результатов операций сегодня ночью и завтра.

БЛИЗОСТЬ СМЕРТИ

НАНА, 30 сентября 1937

МАДРИД. Говорят, что ты не услышишь ту, которая в тебя попадет. Это справедливо о пулях, потому что если ты слышишь их, значит, они уже пролетели мимо. Но ваш корреспондент слышал последний снаряд, ударивший в эту гостиницу. Он слышал, как снаряд был пущен с батареи, как приближался со свистящим нарастающим грохотом, точно поезд в метро, и как врезался в карниз здания, обдав комнату дождем битого стекла и штукатурки. А между тем как продолжает со звоном падать стекло и ты прислушиваешься, не будет ли следующего, ты начинаешь понимать, что вернулся опять в Мадрид.

Сейчас в Мадриде затишье. Действующий фронт в Арагоне. Вокруг Мадрида происходят только небольшие столкновения, если, конечно, не считать минирования, контрминирования, налетов на окопы, минометного обстрела и снайперского огня в условиях позиционной войны, достигшей мертвой точки в Карабанчеле, Узере и Университетском городке.

Город подвергается незначительному обстрелу. Иногда вообще нет никакой стрельбы, стоит прекрасная по-

года и на улицах оживленно илюдно. В магазинах готового платья много товаров, фотомагазины, ювелирные магазины, лавки антикваров открыты, и бары переполнены.

Пива мало, и виски почти невозможно достать. На витринах полно испанских суррогатов всевозможных ликеров, виски и вермутов. Но их не рекомендуется принимать внутрь. Я пользуюсь чем-то под названием «Милордс экоссес виски» после бритья. Несколько дерет кожу, зато вполне гигиенично. Думаю, что его можно было бы использовать для протирания ног бегунов, но обращаться с ним надо крайне осторожно, чтобы не пролить на одежду, так как оно разъедает шерсть. Толпа кажется оживленной и веселой, и кинотеатры с мешками песка у входа набиваются до отказа каждый день. Чем ближе к фронту, тем веселее и оптимистичнее настроены люди. На передовой оптимизм достигает такого подъема, что вашего корреспондента, вопреки его здравому смыслу, позавчера заставили искупаться в маленькой речке на Куэнкском фронте, образующей нейтральную полосу.

Речка была быстрая и очень холодная и целиком простреливалась с фашистских позиций, отчего мне стало еще прохладнее. Мне стало так холодно от одной только мысли поплавать в реке при таких обстоятельствах, что когда я вошел в воду, она показалась мне даже приятной. Но еще приятнее мне стало, когда я вышел из воды и скрылся за деревом.

Как раз в этот момент офицер республиканской армии, участник нашего оптимистического заплыва, подстрелил ужа, попав в него с третьего раза. После чего последовал выговор от другого не столь оптимистично настроенного офицера, тоже участника заплыва, который спросил стрелявшего, чего он хочет собственно добиться своим выстрелом: чтобы пулеметы направили на нас?

В тот день мы уже больше не стреляли ужей, но я видел трех форелей в реке, каждая была весом около пяти фунтов. Это были тяжелые крепкие глубоководные форели. Они поднялись на поверхность, чтобы схватить кузнечиков, которых я бросил им, сделав круги так глубоко в воде, точно туда кинули булыжник. Ниже по течению реки, где до войны не было никаких

дорог, ты видишь форелей маленьких в отмелях и огромных в омутах в тени, у берега. За эту реку стоит драться, но она несколько прохладна для купанья.

Только что снаряд ударил в дом недалеко от гостиницы, где я отстукиваю на машинке эту корреспонденцию. На улице плачет маленький мальчик. Милиционер подобрал его и пытается утешить. На нашей улице никого не убило, и те, кто бросился было бежать, останавливаются и нервно улыбаются. Те, кто и не думал бежать, смотрят на остальных с чувством превосходства, и город, в котором мы все сейчас находимся, называется Мадрид.

ПАДЕНИЕ ТЕРУЭЛЯ

НАНА, 23 декабря 1937

ТЕРУЭЛЬСКИЙ ФРОНТ. Мы лежали на вершине холма в цепи испанской пехоты под сильным пулеметным и ружейным огнем. Огонь был такой сильный, что если бы ты приподнял голову от земли, то уткнулся бы подбородком в одну из этих невидимых маленьких штук, с чмокающим свистом пронесившихся сплошным потоком над тобой, после того как трах-тах-тах-тах пулемета с соседнего хребта повыше сорвало бы макушку с твоей головы. Ты знал, что будет так, потому что видел, как это бывает.

Слева от нас разворачивалось наступление. Согнувшись вдвое, со штыками наперевес солдаты двинулись вперед сначала неуклюжим галопом, а потом стали тяжело карабкаться вверх, как обычно при наступлении в горах. Двоих ранило, и они выпали из цепи. На лице одного застыло недоумение человека, впервые раненного, который не понимает, что можно получить повреждение, но не чувствовать боли. Другой знал, что он тяжело ранен. Мне не хватало лопатки, чтобы сделать небольшое укрытие для головы. Но на расстоянии ползка лопаток не было.

Справа от нас возвышалась желтая громада Мансуэто, естественной крепости в форме корабля, защищавшей Теруэль. Сзади, не переставая, стреляла республиканская артиллерия, и после сильного треска раздался звук, точно раздирали шелк, а потом черные

фонтаны стремительно начали взвиваться там, где снаряды разрывались о земляные укрепления Мансуэто.

Прежде чем попасть сюда, мы спустились через перевал по Сагунтской дороге к Девятому километру от Теруэля и там оставили машину. Пешком мы добрались до Шестого километра, где уже начиналась линия фронта. Мы пробыли там недолго, так как передовая проходила по ложбине и оттуда ничего не было видно. Потом мы поднялись по склону, чтобы найти наблюдательный пункт, и попали под пулеметный обстрел. Внизу под нами убило офицера, и его отнесли назад медленно и тяжело и положили с уже посеревшим лицом на носилки. Когда мертвых выносят с передовой на носилках, значит, атака еще не началась.

Напор огня, который мы привлекали, был несоизмерим с тем, что мы видели, и мы пробрались к этому холму, где расположился авангард центра наступления. Но скоро и здесь стало нехорошо, хотя обзор местности был прекрасный. У солдата, лежавшего рядом со мной, плохо работала винтовка. Она заедала после каждого выстрела, и я показал ему, как можно открывать затвор о скалу. Потом вдруг пронесся радостный крик вдоль передовой, и мы увидели, как побежали фашисты, оставляя свои позиции на соседнем холме.

Они бежали пригнувшись, прыжками, но это была не паника, а отступление, и чтобы прикрыть его, их дальние батареи поливали наш холм непрерывным пулеметным огнем. Мне очень не хватало лопатки. Потом мы наблюдали, как республиканские войска перешли в наступление вверх по холму. Так продолжалось весь день, и к вечеру мы продвинулись на шесть километров вперед от места начала атаки.

В течение дня мы наблюдали, как республиканские войска штурмовали высоты Мансуэто. Мы видели, как в ста ярдах от нас броневики вместе с пехотой брали укрепленный крестьянский дом. Броневики, окружив дом с боков, били, били по его окнам, а потом пехотинцы нырнули внутрь с ручными гранатами. Все это время мы лежали под ненадежным укрытием холмика, замаскированного травой, а фашисты посылали восьмидесятимиллиметровые снаряды на дорогу и в поле позади нас, и они падали с резким свистом и с треском разрывались. Один из них попал в атакующую цепь, и из того,

что казалось центром взрыва, выскочил солдат, развернулся в пол-оборота, сначала, естественно, назад, потом опомнился и побежал вперед догонять своих. Другой остался лежать там, где рассеивался дым.

В тот день не было ветра. После арктического холода, снежного бурана, не прекращавшегося пять дней, казалось, что наступило бабье лето, и дым разрывов поднимался вверх и медленно оседал. И весь день войска наступали, оборонялись и опять наступали. Когда мы еще шли по дороге, солдаты, сидевшие в канаве, приняли нас за старших офицеров, потому что ничто так не выделяется на фронте, как штатская одежда, и кричали нам:

— Поглядите на тех, что на холме! Когда мы начнем атаку? Прикажите наступать!

Мы сидели за деревьями, надежными толстыми деревьями, и глядели, как сучки отскакивали от нижних свисающих ветвей. Мы увидели, что фашистские самолеты держат курс на нас, и укрылись в глубоком овраге с выветренной почвой. Но они развернулись и пошли на заход бомбить республиканские позиции у Конкуда. И весь день мы следовали за беспощадно и неуклонно наступающими республиканскими войсками. Вверх в горы, через железную дорогу, захватив туннель, потом настойчиво вверх и через Мансуэто вниз по дороге, обогнув поворот у Второго километра, и, наконец, вверх по последнему склону к городу, семь колоколен и четкие геометрические контуры домов которого резко вырисовывались на фоне заходящего солнца.

Вечернее небо было полно республиканских самолетов. Истребители разворачивались и носились стрелой, как ласточки. Когда мы наблюдали в бинокль за их виражами, надеясь увидеть воздушный бой, с шумом подъехали два грузовика и, отбросив борты, выпустили роту парней, которые вели себя, будто они приехали на футбольный матч. Только по их поясам с шестнадцатью подсумками для бомб и двум рюкзакам за спиной можно было понять, что они «подрывники». Капитан сказал:

— Эти хорошо работают. Посмотрите, как они будут брать город.

И при свете коротких зарниц закатного солнца и вспышках выстрелов, зажигающихся повсюду вокруг города желтее, чем искры в троллейбусных проводах, но

так же мгновенно, мы видели, как эти парни развернулись в ста ярдах от нас и, прикрытые завесой пулеметного огня беспрепятственно проскользнули вверх по последнему склону к окраине города. Они задержались у стены, потом последовали красно-черная вспышка и грохот бомб, и, перемахнув через стену, они вошли в город.

— А что если нам пойти за ними? — спросил я полковника.

— Отлично, — сказал он, — прекрасная идея. Мы начали спускаться по дороге. Но уже смеркалось. К нам подошли два офицера, собиравшие разбросанные подразделения, и мы решили присоединиться к ним, потому что в темноте возможны шальные пули и потому что пароль еще не установлен. В приятные осенние сумерки мы спускались по вьющейся вниз дороге к Теруэлю. Быстро надвигавшаяся ночь дышала спокойствием, и все звуки казались неуместными.

На дороге лежал мертвый офицер, который командовал ротой в последней атаке. Рота ушла вперед, и это была та стадия наступления, когда мертвым не полагается носилок, поэтому мы подняли его, все еще мягкого и теплого, и положили у обочины дороги, оставив его лежать с серьезным восковым лицом там, где ни танки и ни что другое не потревожит его покоя, и пошли дальше в город.

В городе жители обнимали нас, угощали вином, спрашивали, не знаем ли мы их брата, дядю или кузена в Барселоне, и все было прекрасно. При нас еще никогда не сдавался город, и мы были единственные штатские в нем. Интересно, за кого приняли нас жители? Том Делмер, корреспондент лондонской газеты, похож на епископа, Герберт Л. Мэтьюз из «Нью-Йорк Таймс» — на Савонаролу, а я, ну скажем, на Валласа Бэри*, каким тот был три года назад. Во всяком случае они, наверное, решили, что новый режим будет довольно сложным.

Но они говорили нам, что мы были как раз теми, кого они ждали. Они рассказывали, что прятались в пещерах и погребках после того, как правительство пред-

* Американский актер, снимавшийся в фильме о мексиканской революции 1914 года «Вива Вилья» в роли крестьянского вождя.

ложило им эвакуироваться, потому что фашисты не выпускали их из города. Они говорили также, что правительственные войска не бомбили город, а только военные объекты. Это рассказывали они, а не я.

После того как я, еще сидя в машине, прочел в газетах, только что доставленных из Нью-Йорка в Мадрид, о том, что генерал Франко дает правительству пять дней для капитуляции и потом начнет свое последнее триумфальное наступление, показалось даже несколько неприличным, что мы осмелились войти в Теруэль, этот могучий оплот мятежников, откуда они собирались двинуться к морю.

БЕЖЕНЦЫ

НАНА, 3 апреля 1938

БАРСЕЛОНА. Это был прекрасный день обманчивой весны. Утром мы выехали на фронт. Вчера вечером, когда мы прибыли в Барселону, было серо, туманно, грязно и уныло, но сегодня было солнечно и тепло, и розовые цветы миндаля рдели на серых склонах и оживляли пыльные зеленые ряды оливковых деревьев.

Потом уже недалеко от Реуса, на прямом и ровном шоссе с оливковыми рощами, подступавшими к самой обочине, шофер крикнул нам из-за своей баранки: «Самолеты! Самолеты!» Шины пронзительно взвизгнули, и наша машина остановилась под деревом.

— Они как раз над нами, — сказал шофер. Нырнув в канаву головой вперед, ваш корреспондент уже оттуда следил за монопланом, который спустился, перевернулся через крыло, но потом выравнялся, очевидно решив, что на одну машину не стоит расходовать заряды своих восьми пулеметов.

Когда мы следили за ним, раздался внезапный взрыв сброшенных бомб, и Реус, выступавший в полумиле от нас силуэтом на фоне гор, исчез в облаке дыма, окрашенного кирпичной пылью. Мы продолжали наш путь через город, его главная улица была заблокирована развалинами домов и развороченной водопроводной магистралью, остановились, чтобы разыскать полицейского, который пристрелил бы раненую лошадь, но хозяин лошади решил, что ее еще можно спасти, и мы по-

ехали дальше к перевалу, ведущему в маленький каталонский городок Фальсету.

Так начался день, но никто не знает, как он кончится. Ибо скоро мы повстречали повозки с беженцами. На одной ехала старуха. Она рыдала и плакала, взмахивая кнутом. За весь день я больше не видел ни одной плачущей женщины. За другой повозкой шло восьмеро детей, и маленький мальчик подталкивал колесо, когда они брали крутой подъем. Постели, швейные машины, одеяла, кухонная утварь, матрасы, завернутые в рогожу, мешки зерна для лошадей и мулов громоздились на повозках, а за ними привязанные к задку тащились козы и овцы. Паники не было, люди просто медленно и непрерывно двигались вперед.

На муле, навьюченном подушками, одеялами, ехала женщина с краснолицым младенцем на руках, которому, наверное, не было и двух дней. Голова матери мерно покачивалась в такт шагавшему мулу, и черные как смоль волосы младенца посерели от пыли. Мужчина вел мула, то оборачиваясь назад через плечо, то опять глядя вперед на дорогу.

— Когда родился ребенок? — спросил я его, когда мы поравнялись с ними.

— Вчера, — ответил он с гордостью, и наша машина пошла дальше. Но куда бы ни смотрели эти ехавшие на повозках или бредущие пешком люди, все они следили за небом.

Потом мы увидели солдат. Некоторые несли винтовки, держа их за дула, у других не было никакого оружия. Сначала их было немного, потом повалили целыми подразделениями. Появились войска на грузовиках, войска в походном марше, тягачи с орудиями, танками, противотанковыми пушками и зенитками, а люди все шли и шли.

Чем дальше мы продвигались, тем все более запруженной становилась дорога, а потом уже не только по дороге, но и по старым тропам для скота вдоль дороги потянулись войска и беженцы. Паники не было совсем. Люди просто непрерывно шли, и лица у многих были радостными. Но, возможно, это из-за погоды. День был такой прекрасный, что казалось нелепым, что кто-то вообще может умереть.

Потом мы увидели знакомых офицеров и солдат из Нью-Йорка и Чикаго. Они рассказали, как враг про-

рвал линию фронта и взял Гандесу, что американцы дерутся у моста через Эбро и прикрывают это отступление и что они удерживают предмостные позиции на той стороне реки и все еще не отдают города.

Неожиданно поток войск поредел, а потом последовал новый прилив, и дорога была так забита, что машина не могла идти дальше. Мы видели, как обстреливали Мору на реке, и слышали глухие раскаты орудий. Потом откуда-то взялась отара овец и застопорила движение, и пастухи пытались согнать их с пути машин и танков. Но самолеты пока не появлялись.

Где-то впереди мост еще держался, но уже стало невозможно двигаться на машине против этого занесенного пылью потока, и мы повернули назад к Таррагоне и Барселоне и проехали через все это еще раз. Теперь женщина завернула новорожденного в шаль и крепко прижимала его к себе. Его запыленная головка уже не была видна, потому что женщина крепко прижимала к себе головку, завернутую в шаль, раскачиваясь в такт шагающему мулу. Муж вел мула, но теперь он смотрел вперед на дорогу и не ответил, когда ему помахали. Люди продолжали следить за небом, отступая. Но теперь они выглядели усталыми. Самолеты так и не появились, но это было еще их время, и они запаздывали.

БОМБЕЖКА ТОРТОСЫ

НАНА, 15 апреля 1938

ТОРТОСА, ИСПАНИЯ. Впереди нас пятнадцать легких бомбардировщиков «Хейнкель», защищенных истребителями «Мессершмитт», шли на заход, медленно описывая круги, точно грифы, выжидающие смерти животного. После того как они проходили, из одной и той же точки раздавались тяжелые глухие раскаты взорвавшихся бомб. Когда они, сохраняя боевой порядок, проплывали над голым склоном, каждый третий самолет пикировал, и его пулеметы начинали стрелять. Три четверти часа они беспрепятственно пикировали и сбрасывали бомбы на роту пехотинцев, окопавшуюся в этот жаркий весенний полдень на склоне голого холма и удерживавшую

живающую последний рубеж на дороге Барселона — Валенсия.

Над нами в высоком безоблачном небе эскадрилья за эскадрильей пронеслись бомбардировщики по направлению к Тортосе. После того как они сбросили свой груз — точно внезапно ударил гром, — маленький городок на Чбро исчез в желтом вздыбившемся облаке пыли. Облако так и не рассеялось, потому что еще и еще прибывали самолеты, и в конце концов оно повисло сплошным желтым туманом над всей долиной Эбро. Тяжелые бомбардировщики «Савойя-Марчетти» ослепительно сверкали серебром на солнце, и как только одна партия, отбомбив, улетала, уже шла на заход другая.

Впереди нас не переставая кружили «Хейнкели» и пикировали с механической монотонностью шестого дня велогонок. А под ними, окопавшись в наспех вырытых дзотах и просто в расщелинах земли, залегла рота пехотинцев, пытаясь сдержать наступление целой армии.

В полночь в правительственной сводке сообщили, что бои идут в районе Сан-Матео и Ла-Хана, на последних значительных оборонительных позициях, и что Ла-Танкада, крутая скалистая гора, прикрывающая дорогу к морю в направлении Морелья — Винарос, была взята противником.

В четыре часа утра при полной луне, освещающей скалистые горы Каталонии, выступающие кипарисы и странно расщепленные стволы платанов, мы отправились на фронт. До наступления рассвета мы проехали древние римские стены Таррагоны, и когда солнце начало припекать, мы повстречали первые группы беженцев.

Позже мы поравнялись с войсками, и от них мы узнали, что две колонны продолжают наступать на Винарос, третья на Улдекону и четвертая из Ласенин через Ла-Галера в направлении Санта-Барбары, которая находится всего в тринадцати километрах от Тортосы. Это был прорыв колонны Наваррских войск и мавров под командованием генерала Аранды к морю. Офицеры сообщили нам, что уже взяты Калиг и Сан-Хорхе — два последних города от Сан-Матео на подступах к морю.

В час дня дорога была еще открыта, но по всем приметам было ясно, что она будет отрезана артиллерийским обстрелом противника уже к ночи, а возможно,

и раньше, как только войска Аранды подтянут свои орудия. А в это время с того места, где в Улдеконе ваш корреспондент разговаривал со штабным офицером, перед которым на каменной стене была разложена карта, уже слышалась стрекотня пулеметов.

Офицер отвечал на вопросы хладнокровно, четко и очень вежливо, а войска Аранды тем временем продолжали наступать и миновали Сан-Рафаэль, и нас разделял всего лишь один хребет. Офицер был очень храбрый и знающий солдат. Он отдал приказ привести броневики в боевую готовность, но, поскольку наша машина не была броневиком, мы решили повернуть назад к Санта-Барбаре. Это очень приятный маленький городишко, но он был бы еще приятнее, если бы Тортоса не извергала столбы дыма после того, как над ней разгужались бомбардировщики.

Много причин побудило нас пробраться через Тортосу к Барселоне, включая любовь к жизни, свободе, а также погоню за счастьем. Поэтому, когда наша машина прибыла в Тортосу и часовой сказал нам, что самолеты разрушили мост и нельзя перебраться на противоположный берег, его слова не поразили нас, так как этот мост давно нас беспокоил, а вызвали лишь чувство: «Вот оно и случилось».

—Попытайтесь проехать через маленький мостик, который укрепляют досками, — сказал часовой.

Шофер рванул машину вперед, протиснулся сквозь ряды грузовиков, проехал мимо воронок от бомб, которые могли поглотить два грузовика, скрыв их в свежесопаленной едко пахнущей взрывчаткой земле, и выскочил к маленькому мостику. Впереди шла повозка, запряженная мулом.

— Ты не пройдешь здесь! — закричал часовой крестьянину, ехавшему на повозке, тяжело груженной мешками зерна, домашней утварью, кастрюлями, кувшинами с вином и всем, что мог сдвинуть с места мул. Но у мула нет заднего хода, и к тому же на мосту была толчея. Поэтому ваш корреспондент подталкивал колеса, крестьянин тянул мула за голову, и повозка медленно покатилась вперед, а за ней машина. Узкие железные ободья колес прогибали слишком тонкие и легкие балки моста, которые чарни в спешке прибивали гвоздями,

чтобы приспособить этот хрупкий мостик для транспорта.

Парни кололи, пилили, забивали быстро и яростно, точно хорошая команда на судне, терпящем бедствие. А справа виднелся провалившийся в реку пролет огромного стального моста, другого пролета вообще не было. Массированный налет сорока восьми самолетов, которые, судя по оставшимся воронкам и по раскрошенным в щебень домам вдоль дороги, использовали бомбы весом в 300—400 фунтов, захватил и тортосский мост. В городе горела цистерна с бензином. Ехать по городу было все равно, что взбираться по кратерам луны. Железнодорожный мост еще стоит, и переправу восстанавливают, но сегодня будет очень тяжелая ночь для западного берега реки Эбро.

ТОРТОСА СПОКОЙНО ОЖИДАЕТ АТАКИ

НАНА, 18 апреля 1938

ДЕЛЬТА ЭБРО. ИСПАНИЯ. Оросительный канал кишел лягушками урожая этого года. Стоило только войти в воду, как они, бешено подпрыгивая, разлетались в разные стороны. Цепь парней лежала за железнодорожным полотном, каждый вырыл себе в насыпи небольшое укрытие, и штыки их ружей торчали над блестящими рельсами, которые скоро станут ржавыми. У этих парней были лица бойцов — мальчики превращаются в бойцов за один день — бойцов, ожидающих боя.

На той стороне реки враг только что занял предмостные позиции, и последние части переплыли реку уже после того, как переправа была взорвана. Снаряды летели теперь из маленького города Ампоста с того берега и ложились в поле и на дорогу. Сначала раздавался двойной гул орудий, потом свистящий, нарастающий звук рвущейся материи, и грязь бурным фонтаном взвивалась в винограднике.

Сейчас наступило неопределенное и глухое затишье, какое обычно бывает на войне, когда орудия только вводятся в действие и еще не пристрелялись, и ваш кор-

респондент пошел вдоль железной дороги искать место, откуда можно было бы вести наблюдение за франкистами, расположившимися на той стороне реки.

Иногда на войне обстановка бывает такой, что хождение во весь рост на определенном отрезке пространства становится или глупостью, или бравадой. Но бывают и иные минуты, обычно перед сражением, напоминающие старые добрые времена, когда ты прогуливался по арене цирка до начала боя быков.

На тортосскую дорогу пикировали самолеты и обстреливали ее из пулеметов. Немецкие самолеты работают невероятно методично. Они делают свою работу, и если ты часть этой работы, тебе придется плохо. Если ты не входишь в их задание, то можешь подойти к ним очень близко и смотреть на них, как смотрят на львов, занятых кормежкой. Если у них есть приказ бомбить дорогу по пути на аэродром, то ты пропал. Если же такого приказа нет, то они, отбомбив, возвращаются на аэродром, точно банковские служащие домой.

Судя по тому, как действовали самолеты, там, у Тортосы, дела были плохи. Но здесь, в дельте, артиллерия все еще продолжала разогреваться, напоминая бейсболистов, разминающихся в загоне для быков. Ты пересек местность, которую в другой раз даже перебежать стоило бы жизни, и направился вдоль канала параллельно реке к белому дому, доминирующему над желтым городом, где фашисты готовились к атаке.

Двери дома были заперты, и тебе не удалось взобраться на крышу, но с утрамбованной тропинки, вьющейся вдоль канала, ты мог видеть, как на той стороне солдаты пробирались сквозь деревья к высокому зеленому берегу. Республиканская артиллерия направила свои орудия на город и поднимала фонтаны известковой пыли при попадании в дома и церковную колокольню, где, очевидно, находился наблюдательный пункт. И все же не было никакого ощущения опасности.

Но в течение трех суток на том берегу, когда войска Аранды наступали, чувство опасности от боязни случайно наскочить на неприятельскую кавалерию, танки или броневики, было такое же реальное, как пыль, которую ты вдыхал, или дождь, прибивший наконец эту пыль и хлеставший тебя по лицу в открытой машине. Теперь две армии наконец сблизилась, и за Эбро будет битва,

и после этой неопределенности сближение принесло чувство облегчения.

Еще один солдат пробрался сквозь заросли деревьев на той стороне реки, потом еще трое. И когда они уже скрылись из виду, вдруг раздалась резкая стрекотня пулеметов. С этим звуком все ощущение репетиции перед битвой прошло. Парни, что окопались у железнодорожной насыпи, были правы, и сейчас наступило их время.

С того места, где ты стоял, ты видел их. Они лежали в своих надежных укрытиях, бесстрашно ожидая боя. Завтра настанет их черед. Ты глядел на их штыки, остро торчащие под углом к рельсам.

Понемногу артиллерия начала прочесывать местность. Два снаряда ударили по цели, а когда дым рассеялся и осел на деревьях, ты набрал охапку весеннего лука на поле рядом с тропинкой, что ведет к Тортосской дороге. Это были луковицы первого весеннего урожая, и если снять с них кожицу, они оказывались крепкими, белыми и не очень горькими. В дельте Эбро очень плодородная земля, и там, где растет этот лук, завтра будет бой.

ПРОГРАММА РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ США

«Кен», 11 августа 1938

В о п р о с: Что есть Война?

О т в е т: Война есть акт насилия, направленный к тому, чтобы принудить противника к исполнению нашей воли.

В о п р о с: Что есть основная цель акта войны?

О т в е т: Основная цель акта войны — обезоружение неприятеля.

В о п р о с: Как это достигается?

О т в е т: Первое. Вооруженные силы противника должны быть уничтожены, т. е. приведены в состояние невозможности продолжать борьбу. Второе. Страна должна быть завоевана, так как из нее могли бы выйти новые вооруженные силы. Третье. Воля противника должна быть сломлена.

В о п р о с: Есть ли другие пути навязать нашу волю противнику?

Ответ: Есть. Например, вторжение в неприятельские области, занятие их не с целью удержания, а только для сбора контрибуций или для опустошения.

Вопрос: Может ли страна, оставаясь в оборонительной позиции, выиграть войну?

Ответ: Да. Эта отрицательность цели, будучи основным началом обороны, вместе с тем является естественным средством превзойти противника способностью к продолжительной борьбе, т. е. утомить его. Следовательно, если отрицательное намерение, т. е. соединение всех средств только с целью пассивного сопротивления, дает перевес в бою и если перевес этот достаточно велик для уравнивания превосходства неприятельских сил, — то стоит лишь затянуть бой, чтобы довести напряжение сил противника до несоответствия с важностью политической цели: придется от нее отказаться. Из этого видно, что этот способ уничтожения противника применяется именно в тех многочисленных случаях, когда слабый хочет устоять против сильного.

Фридрих Великий в Семилетнюю войну никогда не был бы в состоянии разрушить Австрийскую монархию, а если бы захотел сделать подобную попытку в духе Карла XII, то неизбежно погиб бы. Но после того, как он семь лет сряду путем талантливого применения мудрой экономии сил доказывал соединившимся против него врагам, что напряжение сил требуется гораздо большее, чем они сперва предполагали, то они заключили мир.

Все эти ответы даны Клаузевицем *, а он хорошо знал свое дело. Это скучное и утомительное чтение, но, поскольку о войне пишется, говорится и думается много чепухи, необходимо вернуться к этому старому Эйнштейну военной стратегии, чтобы найти прецеденты в прошлом, согласно которым Испанская республика продолжает воевать. Если вы вникните в два параграфа Клаузевица о силе обороны, вы поймете, почему война в Испании еще долго продлится.

Уже два года идет война в Испании. Год — в Китае. В Европе война начнется самое позднее будущим летом.

Она чуть было не началась 21 мая. Может быть, она начнется теперь, в августе. Или, может быть, ее отложат до следующего лета. Но она неизбежна.

* Прусский генерал и военный теоретик XIX века. Текст цитируется по его книге «О войне», 1832.

Так что же такое война? Мы говорим, что война — убийство, что она непростительна и что нет такой цели, которая оправдала бы наступательную войну. Но что говорит Клаузевиц? Он называет войну «продолжением политики иными средствами».

Так когда же начнется эта новая война? Можете быть уверены, что ее начало уже детально разработано. Но только когда же она начнется?

«Если обе стороны вооружились для борьбы по какой-нибудь причине, которая должна существовать, пока противники остаются вооруженными, т. е. пока не заключают мира, то затишье может быть при одном только условии: при желании выждать более удобного для действия времени».

Это опять Клаузевиц.

«Государственный деятель, если он знает, что его оружие готово к действию и понимает неизбежность войны, но не решается ударить первым, виновен в преступлении против своей страны».

Это уже сказано фон дер Гольцем*. И это стоит прочитать.

Последнее время все чаще мистер Невилл Чемберлен и глашатаи его политики в нашем госдепартаменте требуют, чтобы мы стали реалистами.

А почему бы и не быть реалистами? Но реалистами не чемберленовского толка, исполнителями паллиативов британской политики, которая превратится в лом, как только британцы вооружатся, а реалистами по-американски?

Итак, в Европе война неизбежна. Но что мы как реалисты собираемся делать по этому поводу?

Прежде всего мы хотим остаться в стороне. Мы ничего не приобретем в европейской войне, кроме, быть может, временного процветания.

Один из способов остаться в стороне — это не продавать оружия ни одной из воюющих стран. Но все равно британцы и пробританские мальчики из нашего госдепартамента сделают все, чтобы втянуть нас в нее, но не с грязными намерениями, а ради высочайших, благороднейших и гуманнейших целей. Другая сторона

* Немецкий генерал, организатор интервенции в Прибалтике в 1918 году.

тоже будет нас обрабатывать, но британцы — самые большие мастера внушать доверие.

Немцы обладают способностью раздражать народы, оскорблять нации и провоцировать поводы к войне. Гогенцоллерны были отвратительны, но нацисты будут еще хуже, и если тогда была одна «Лузитания», то теперь можно будет насчитать десяток подобных случаев. Варвары, бомбившие Гернику и расстреливавшие гражданское население Барселоны, вряд ли удержатся от того, чтобы не напасть на «Нормандию» или «Квин Мэри». Поэтому, когда начнется война, американцам придется испытать свои суда для разнообразия. Или сразиться за Французскую линию или Кунард.

Но нет уж. Раз вы собираетесь стать реалистами, вы должны заблаговременно решить, вступать в войну или нет. Найдется много поводов, чтобы впутать нас в войну. А война неизбежна.

Так давайте же останемся в стороне. Но почему же в стороне, а не поживиться? Если мы реалисты, почему же тогда не продавать обеим сторонам все, что они захотят, все, что мы можем производить? Продавать, конечно, за наличный расчет. Ничего не следует продавать в кредит, в противном случае, помогая одной стране победить, чтобы она смогла заплатить нам долги, мы вынуждены будем снова пройти через этот фарс военных долгов.

Война неизбежна в Европе. Почему бы и нам не извлечь из нее кой-какую выгоду, раз мы реалисты? Но все поставки осуществлять за наличный расчет, и наличный расчет производить золотом.

Потом, чтобы застраховать себя от участия в войне, ничего не следует доставлять воюющим странам на своих судах. Никаких военных товаров на американских судах. Пусть воюющие страны посылают свои суда, платят наличными, а уж если их суда окажутся потопленными, то это дело их бдительности. Чем больше потопнет, тем лучше.

В таком случае мы будем продавать им суда, также за наличный расчет, хорошие суда, быстро построенные и с дрянными килями, какие мы поставляли им в прошлую войну. Все это строится и продается за наличный расчет. Деньги одновременно с заказом. Судно становится собственностью страны, которая его покупает с

той минуты, как только киль коснется воды.

И если молодчики йз гестапо устроят саботаж, подожгут верфь, мы все равно не вступим в войну. Мы застрахованы. Понятно? Чем больше саботажей, тем лучше. А если их суда потонут, мы и им построим новые, но тоже за наличный расчет.

Так пусть же джентльмены Европы дерутся, и если они платят наличными, посмотрим, как долго все это будет продолжаться. Почему бы не быть реалистами, мистер Чемберлен? Почему не быть реалистами? Или вам уже не хочется играть?

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

«Кен», 22 сентября 1938

Я встретился с этим гражданином в мадридской гостинице «Флорида» в конце апреля прошлого года. Дело было к вечеру, а он приехал из Валенсии в Мадрид накануне ночью. Весь день он не выходил из своей комнаты и писал статью. Этот гражданин был высокого роста с водянистыми глазами и прядями светлых волос, тщательно прилизанных на лысой с приплюснутой макушкой голове.

— Ну, как вам Мадрид? — спросил я его.

— Здесь свирепствует террор, — сказал этот журналист. — Свидетельства на каждом шагу. Обнаружены тысячи трупов.

— Когда вы сюда приехали? — спросил я его.

— Вчера ночью.

— Где вы видели трупы?

— Да везде, — сказал он. — Особенно утром пораньше.

— Вы были на улице рано утром?

— Нет.

— Вы видели трупы?

— Нет, — сказал он, — но я знаю, что они есть.

— Какие же проявления террора вы наблюдали?

— О, они есть, — сказал он, — вы не можете этого отрицать.

— Но что вы сами видели?

— У меня не было времени, но я знаю, что свирепствует террор.

— Послушайте,— сказал я,— вы приехали сюда прошлой ночью. Вы даже не выходили из гостиницы и рассказываете тем, кто живет и работает здесь, что в городе террор.

— Но вы не можете отрицать того, что он есть,— сказал этот эксперт,— везде видны следы злодеяний.

— А мне показалось, что вы сказали, что сами лично не видели никаких признаков террора.

— Они везде,— сказал этот великий человек.

Тогда я рассказал ему, что мы, несколько журналистов, живем и работаем в Мадриде как раз для того, чтобы выяснять, есть ли здесь террор и сообщать об этом в прессе. Я сказал, что у меня есть старые друзья в Сегуридаде*, которым я доверяю, и мне известно, что в этом месяце три человека были расстреляны за шпионаж. Я был приглашен в качестве свидетеля на казнь, но был на фронте и ждал четыре недели следующего случая. В начале мятежа были расстрелы так называемых неконтролируемых, но вот уже несколько месяцев в Мадриде спокойно, город охраняется полицией и никакого террора здесь нет, как его нет в любой другой столице Европы. Расстрелянные доставляются в морг, и он сам может пойти и проверить все, что его интересует. Так поступают все живущие здесь журналисты.

— Не пытайтесь отрицать, что в Мадриде террор,— сказал он,— вы знаете это лучше меня.

Он был корреспондентом одной солидной газеты, и я очень уважал эту газету, поэтому я не ударил его. Кроме того, ударить такого типа кулаком — значит дать ему повод говорить о том, что в городе свирепствует террор. К тому же встреча происходила в комнате американской журналистки, и еще мне показалось, но не смею утверждать, что он был в очках.

Американская журналистка собиралась уехать из страны, и он дал ей с собой запечатанный конверт. Никто не дает запечатанных конвертов для вывоза из страны в военное время, но этот отважный парень уверил американку, что в конверте всего лишь второй экземпляр его уже проверенной цензурой корреспонденции с Теруэльского фронта и что он отправляет его почтой в свою газету как дубликат на всякий случай.

* Управление безопасности.

На следующий день американка сказала мне, что она отвезет это письмо.

— Но оно же запечатано? — спросил я ее.

— Да.

— Лучше дайте письмо мне, а я по пути занесу его в цензуру. Как бы у вас не вышло неприятностей из-за него.

— Каких неприятностей? Это только второй экземпляр уже прошедшей цензуру корреспонденции.

— Он вам показывал ее?

— Нет, но он так сказал.

— Никогда не доверяйте мужчинам, прилизывающим волосы на лысой голове, — сказал я.

— За его голову нацисты назначили 20 000 фунтов стерлингов, — сказала она. — Такому можно доверять.

В цензуре выяснилось, что предполагаемый второй экземпляр корреспонденции из Теруэля был не вторым экземпляром, а статьей, которая начиналась так: «В Мадриде свирепствует террор. Обнаружены тысячи трупов и т. д. и т. д.». Это была фальшивка. В ней содержалась клевета на всех честных корреспондентов, работающих в Мадриде. И этот тип ухитрился написать ее в первый же день своего приезда, даже не высунув носа из гостиницы. Но самое отвратительное было то, что американская журналистка, по военным законам, могла быть расстреляна за шпионаж, если бы у нее на границе нашли эту стряпню. Корреспонденция была чистой воды ложь, и он дал ее журналистке, которая, доверяя ему, взялась вывезти ее из страны.

В тот вечер в ресторане на Гран Виа я рассказал эту историю нескольким журналистам, серьезно и много работающим, не тенденциозно настроенным, а честно и правдиво пишущим корреспондентам, которые, находясь в Мадриде, рискуют жизнью каждый день и которые отрицали, что в городе, с тех пор как правительство взяло его под контроль, имеет место террор.

Они были возмущены тем, что какой-то посторонний человек приехал в Мадрид, оклеветал их и чуть было не подверг одного из уважаемых корреспондентов обвинению в шпионаже из-за его фальшивки.

— Давайте подойдем к нему и спросим, правда ли, что нацисты оценили его голову в 20 000 фунтов стерлингов, — сказал кто-то. — Мы должны выдать его за

то, что он сделал. Его следует расстрелять, и если бы знать, куда отослать его голову, мы могли бы ее отправить в сухом льду.

— Это будет не очень-то симпатичная голова, но я с удовольствием отнес бы ее в своем рюкзаке, — предложил я. — С 1929 года не видел такой суммы, как 20 000 фунтов стерлингов.

— Я подойду и спрошу его, — сказал известный чикагский журналист.

Он подошел к столику этого типа, поговорил с ним очень спокойно и потом вернулся к нам.

Мы все продолжали смотреть на этого человека. Он был бледен, как непроданная камбала в 11 утра перед закрытием рыбного рынка.

— Он говорит, что никакой награды за его голову не назначали, — сказал чикагский репортер своим мелодичным голосом. — Оказывается, что кто-то из его редакторов выдумал это.

Так одному журналисту удалось спастись от террора в Мадриде против него самого.

Когда цензура мешает писать правду, журналист может нарушить законы цензуры под угрозой быть высланным из страны. Или может уехать из страны и писать не подлежащие цензуре корреспонденции. Но этот гражданин, совершавший мимолетное турне, собирался кого-то другого подвергнуть опасности, а сам желал приобрести репутацию бесстрашного разоблачителя. Удивительнее всего, что никакого террора в то время в Мадриде не было. Но ему было слишком скучно.

Все это, наверное, заинтересовало бы его газету, хотя бы уже потому, что она, как это ни странно, давно нуждается в правдивой информации.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

КАК МЫ ПРИШЛИ В ПАРИЖ

«Кольерс», 7 октября 1944

Не могу описать вам чувств, охвативших меня, когда бронетанковая колонна генерала Леклерка остановилась к юго-востоку от Парижа. Я только что вернулся из разведки, во время которой порядком струсил и был перецелован всеми подонками города, вообразившими, что город освобожден нашим случайным вторжением, когда мне сообщили, что сам генерал на дороге и желает нас видеть. В сопровождении одного из знаменитых людей Сопротивления и полковника Б., прославившегося в Рамбуйе как храбрый офицер и *grand seigneur* * и который с незапамятных, как нам казалось, времен удерживал Рамбуйе, мы в некотором волнении отправились к генералу. Его приветствие — нецензурное — будет вечно звучать в моих ушах.

— Убирайтесь с моих глаз ..! — сказал любезный генерал почти шепотом, и полковник Б., король Сопротивления и ваш бронетанковый корреспондент отступили.

Позже генерал-два дивизии пригласил нас на обед, а на следующий день они начали действовать на основе сведений, собранных полковником Б. Но для вашего корреспондента это был кульминационный момент наступления на Париж.

На войне, как показывает мне опыт, генерал груб, когда он нервничает. В то время я не сделал такого вывода, а отправился в разведку, где мог, сидя один в джипе, сдерживать свою собственную нервозность, между тем как мои друзья уточняли, какое сопротивление нас ожидает на завтра между Туссю-ле-Ноблем и Ле-Крист-де-Сакле.

Уточнив оборону противника, мы вернулись в отель «Гран Венёр» в Рамбуйе и провели беспокойную ночь. Не помню точно, что было причиной нашего беспокойства. Возможно то, что в этом притоне собралось слишком много народу, включая двух военных полицейских. Или, быть может, это объяснялось тем, что мы оторвались слишком далеко от нашего источника вита-

* Важный господин, властитель (фр.).

мина В₁ и поглощение алкоголя начало сказываться на нервах твердейших партизан, освободивших слишком много городов за слишком короткое время. Во всяком случае, я ощущал беспокойство и думаю, скажу без преувеличения, что те, кого мы с полковником Б. называли «нашими людьми», также испытывали беспокойство.

Вождь партизан, боевой командир «наших людей», сказал:

— Мы хотим взять Париж. Какого черта это промедление?

— Никакое это не промедление, вождь,—сказал я.— Все это — часть грандиозной операции. Немного терпения. Завтра мы возьмем Париж.

— Надеюсь, что так, — сказал вождь партизан. — Моя жена уже немножко заждалась меня. К дьяволу все! Хочу в Париж к своей жене, и не вижу никакой необходимости дожидаться, когда подойдет вся армия.

— Немного терпения, — сказал я ему.

В ту решающую ночь мы спали. Ночь была решающей, но назавтра нас, бесспорно, ждал еще более решающий день. Мое предвкушение настоящего боя, однако, было испорчено. Поздно ночью в гостиницу явился партизан и разбудил меня, чтобы сообщить, что все немцы, способные устроить это, отступают из Парижа. Мы знали, что будем драться с их прикрытием, и я не предполагал серьезного дела. Поскольку нам было хорошо известно расположение немецкой обороны, мы могли взять приступом или обойти ее, и я заверил наших партизан, что если они наберутся терпения, то мы еще окажемся в привилегированном положении и войдем в Париж вслед за армией, а не впереди нее.

Однако подобное преимущество пришлось им как-то не по душе. Правда, один из знаменитых людей подполья настаивал на том, чтобы пропустить войска. Как он сказал, простая вежливость требует пропустить их вперед. Однако к тому времени, когда мы добрались до Туссю-ле-Нобля, где произошел короткий, но жестокий бой, был отдан приказ, запрещающий журналистам и партизанам продвигаться вперед до тех пор, пока не пройдет колонна.

В тот день, когда мы наступали на Париж, лил силь-

ный дождь, и через час после выхода из Рамбуйе, мы промокли до нитки.

Мы прошли через Шеврез и Сен-Реми-ле-Шеврез, куда не так давно ходили в разведку и где нас хорошо знали местные жители, от которых мы получали информацию и с которыми распили порядочное количество арманьяка, чтобы унять неудовлетворенность наших партизан, уже в то время сильно тосковавших по Парижу. Тогда я понял, что бутылочка любого, но крепкого напитка — единственный способ прекратить спор.

После того как мы оставили Сен-Реми-ле-Шеврез, где нас бурно приветствовал местный charcutier, торговец свиной, участвовавший в ряде наших операций и с тех пор несколько тронувшийся, мы допустили небольшую ошибку: обогнали колонну у деревни Курсель. Там нам сообщили, что впереди нас нет ни одной машины, и к великому неудовольствию наших людей, горевших желанием идти дальше, как они считали, самым кратчайшим путем на Париж, мы вернулись в Сен-Реми-ле-Шеврез, чтобы соединиться с бронетанковой колонной, наступавшей на Шатофор. Наше возвращение сильно обеспокоило местного charcutier. Но когда мы объяснили ему ситуацию, он опять бурно приветствовал нас, и, пропустив на ходу по стаканчику, мы решительно двинулись к Туссю-ле-Ноблю, где, как я знал, колонна должна была вступить в бой.

Я знал, что нас ждет здесь сопротивление впереди и справа, у Ле-Крист-де-Сакле. Немцы здесь основательно окопались и возвели целый ряд оборонительных укреплений между Шатофором и Туссю-ле-Ноблем, а также за развилкой дорог. За аэродромом, в направлении к Бюку, у них были 88-миллиметровые орудия, державшие весь этот участок дороги под прицельным огнем. По мере приближения к Траппу, где действовали танки, мое беспокойство значительно усилилось.

Французские танки работали прекрасно. На подступах к Туссю-ле-Ноблю, где, как нам было известно, у немцев стояли пулеметы в копнах пшеницы, танки развернулись и прикрыли оба наши фланга, и мы видели, как они катили вперед по сжатому пшеничному полю, точно на маневрах. Пока действовали танки, немцы не показывались. Потом они появились с поднятыми вверх руками. Это было прекрасное использование тех-

ники — трудного ребенка войны. И это приятно было наблюдать.

Потом, когда мы нарвались на семь танков и на четыре 88-миллиметровых орудия, размещенных за аэродромом, французы тоже дрались прекрасно. Их артиллерия находилась позади, на другом пшеничном поле, и, когда немецкие орудия (четыре из них были подтянуты только ночью и не были замаскированы) открыли огонь по колонне, французская механизированная артиллерия ударила по ним.

В нашу сторону летели немецкие снаряды, а над головой трещали 20-миллиметровки, стрекотали пулеметы, и не слышно было даже собственного голоса, но вождь подполья, собиравший сведения о немецких диспозициях, крикнул мне по-французски прямо в ухо: «Соприкосновение прекрасное! И как раз там, где мы говорили. Прекрасное!».

Для меня, вообще небольшого любителя соприкосновений, это было даже слишком прекрасно, и когда 88-миллиметровый снаряд разорвался на дороге, я шлепнулся на землю. Соприкосновение — дело горячее, и, поскольку наша колонна задержалась в этом пункте, наиболее деятельные из партизан стали помогать восстанавливать дорогу, превратившуюся в кашу от гусениц танков. Это отвлекло их мысли от происходившей вокруг перестрелки. Они засыпали ямы кирпичом и черепицей от разрушенных домов и передавали по конвейеру куски бетона и обломки домов. Все время хлестал дождь. В результате соприкосновения колонна потеряла убитыми двоих и ранеными пятерых и один танк, вывела из строя два вражеских танка и заставила замолчать все 88-миллиметровые орудия.

— *C'est un bel accrocage*, — сказал мне ликующе вождь подполья.

Это значит что-то вроде: «Здорово мы с ними сцепились», или «Красиво мы врезались в них». «*Accrocage*» буквально выражает то, что происходит, когда две машины сцепятся бамперами.

Я заорал:

— Красиво! Красиво!

На что молодой французский лейтенант, который, судя по его виду, не часто попадал в «*accrocage*», но,

насколько мне известно, мог бы участвовать в сотне подобных соприкосновений, сказал мне:

— Черт побери, кто вы такой и что вы делаете в этой колонне?

— Я военный корреспондент, мосье, — ответил я.

Лейтенант прокричал:

— Не пропускать военных корреспондентов вперед, пока не пройдет колонна. И в особенности — вот этого!

— О'кэй, мой лейтенант, — сказал военный полицейский, — я буду следить за ним.

— И этот партизанский сброд тоже! — приказал лейтенант. — Ни одного из них не пропускать, пока не пройдет вся колонна.

— Мой лейтенант, — сказал я, — сброд сразу же уберется с глаз, как только это маленькое «ассгочаге» закончится и колонна пройдет.

— Что вы имеете в виду под этим маленьким «ассгочаге»? — спросил он, и я почувствовал в его голосе враждебность.

Поскольку нам не разрешалось наступать вместе с колонной, я предпринял обходной маневр и пробрался по дороге в бар. Там сидело множество партизан, и они весело распевали песенки в обществе очаровательной испанской девушки из Бильбао, которую я встретил в последний раз на знаменитом дозорном пункте недалеко от города Коньер. Этот город мы брали у немцев, как только они отводили один из своих танков, а стоило нам отойти с дороги, как немцы опять возвращались. Эта девушка с пятнадцати лет следовала за войнами и опережала войска, и ни она, ни партизаны не обращали на «ассгочаге» никакого внимания.

Вождь партизан В. сказал мне:

— Выпей этого прекрасного белого вина.

Я сделал большой глоток из бутылки, и оказалось, что это был очень крепкий ликер, отдававший апельсинами и называвшийся «Гран Марнье».

Мимо пронесли носилки с ранеными.

— Посмотрите, — сказал партизан, — эти армейские постоянно несут потери. Почему они не разрешают нам идти вперед по-разумному?

— О'кэй, о'кэй, — сказал другой в боевой форме американского солдата с повязкой «francs-tireurs»* на

* Французские силы Сопротивления (фр.).

рукаве. — А наши товарищи, которые погибли вчера на дороге?

Другой сказал:

— Но сегодня мы идем на Париж.

— Давайте вернемся и посмотрим, сможем ли мы сделать это у Ле-Крист-де-Сакле, — сказал я. — Закон уже введен в действие, и нас не пропустят дальше, пока не пройдет вся колонна. Дороги здесь грязные и разбитые. На легковой еще можно было бы проехать, а грузовик застрянет и испортит все дело.

— Мы можем прорваться в обход по проселочным дорогам, — сказал вождь партизан В. — С каких это пор мы должны тащиться за колонной?

— Я думаю, что лучше всего вернуться в Шатофор, — предложил я, — может быть, оттуда быстрее.

На развилке у Шатофора мы встретили полковника Б. и взводного А., которые оторвались от нас еще до того, как мы попали в «ассгошаж», и рассказали им о прекрасном соприкосновении на дороге. На пшеничном поле артиллерия все еще вела огонь, и два храбрых офицера успели хорошо закусить в доме крестьянина. Французские солдаты из колонны жгли деревянные ящики из-под снарядов. Мы сняли нашу мокрую одежду и высушили ее над огнем. Стали прибывать немецкие пленные, и офицер из колонны попросил нас послать партизан туда, где немцы, прятаясь в копнах, сдались в плен. Партизаны доставили их по-военному, в целости и сохранности.

— Вы понимаете, мой капитан, что это идиотизм, — сказал самый старый партизан в группе. — Теперь их кто-то должен будет кормить.

Пленные говорили, что они чиновники из Парижа и что на эти позиции их привезли только вчера в час ночи.

— Вы верите их рассказам? — спросил старый партизан.

— Вполне возможно, что и так. Их вчера здесь не было, — ответил я.

— Эти армейские штучки раздражают меня, — сказал старый партизан. Ему было сорок лет, у него было худое острое лицо с ясными голубыми глазами и скупая, но прекрасная улыбка. — Эти немцы замучили и расстреляли одиннадцать человек из нашего отряда. Они

били меня, издевались надо мной и расстреляли бы, если бы только узнали, кто я такой. А нас теперь заставляют охранять их бережно и достойно.

— Они не твои пленные, — объяснил я ему, — армейские взяли их.

Дождь перешел в легкий движущийся туман, потом небо расчистилось. Пленных отправили назад в Рамбуе на огромном немецком грузовике, который одному знаменитому подпольщику очень хотелось увезти из колонны на некоторое время, и совершенно справедливо хотелось. Сказав несколько слов военному полицейскому на развилке, где грузовик может снова присоединиться к нам, мы поехали за колонной.

Мы нагнали танки на проселочной дороге на этой же стороне главной магистрали Версаль—Париж и последовали за ними в долину, густо поросшую лесом, а потом на зеленое поле, где стоял старинный *château* *. Мы опять наблюдали, как разворачивались танки, точно сторожевые псы, сопровождающие отару овец. Пока мы ездили назад посмотреть, свободна ли дорога через Ле-Крист-де-Сакле, они успели побывать в бою, и мы проехали мимо сожженного танка и трех немецких трупов. Один из них был раздавлен и расплюсчен так, что не оставалось никакого сомнения насчет силы танков, когда их используют по назначению.

На шоссе Версаль—Виллакубле колонна продвинулась за разрушенный аэродром к развилке в направлении Порт-Клармар. Здесь во время остановки колонны прибежал француз и сообщил, что маленький немецкий танк стоит на дороге, ведущей к лесу. Я посмотрел на дорогу в бинокль, но ничего не увидел. А между тем немецкая машина, которая оказалась не танком, а бронированным джипом с пулеметом и 20-миллиметровой пушкой, развернулась в лесу и выскочила на дорогу, обстреливая перекресток.

Все начали стрелять в джип, но он отступил в лес. Арчи Пелки, мой шофер, дал по нему два выстрела, но не был уверен, что попал в цель. Двух человек ранило, и их отнесли под прикрытие углового дома, чтобы оказать первую помощь. Партизаны повеселели, потому что опять началась стрельба.

* Замок (фр.).

— У нас еще будет хорошая работа. Хорошая работа впереди, — сказал партизан с острым лицом и ясными голубыми глазами, — рад, что еще несколько ... осталось здесь.

— Ты думаешь, что у нас будет еще случай столкнуться? — спросил партизан В.

— Конечно, — сказал я, — конечно, еще кое-что от них осталось в городе.

Моя личная боевая задача в этот момент была дойти до Парижа живым. Наши головы достаточно долго подвергались обстрелу. Сегодня мы шли на Париж. Оберегаясь во всех уличных боях, я использовал самое надежное укрытие, какое только было возможно. Когда мы находились в здании или в подъезде больших домов, кто-нибудь прикрывал меня с лестницы.

С этого момента наступление колонны стоило наблюдать. Впереди на дороге возвышается баррикада из поваленных деревьев. Танки обходят или разгребают их, точно слоны бревна. Или танки врезаются в баррикаду из старых машин и идут, круша все перед собой, а за ними, зацепившись за гусеницы своими исковерканными крыльями, тащатся какие-нибудь драндулеты. Танки, такие уязвимые и беззащитные в зарослях кустарника, где они — жертва противотанковых орудий, базуки и всех, кто их не боится, сейчас крушили все вокруг, точно пьяные слоны в туземной деревушке.

Впереди налево от нас горел немецкий полевой склад боеприпасов, и разноцветные снаряды противоздушных орудий разрывались с непрерывной трескотней 20-миллиметровок. Снаряды покрупнее начали рваться, когда температура повысилась, и создавалось полное впечатление бомбардировки. Я потерял Арчи Пелки, но позже обнаружил, что он подъехал к горевшему складу, решив, что там идет ожесточенная схватка.

— Там никого не было, Папа, — сказал он, — просто ужасно много боеприпасов горело...

— Не уходи один, — сказал я. — А вдруг нам надо будет выехать?

— О'кэй, Папа. Виноват, Папа. Понимаю, Папа. Только, мистер Хемингуэй, я ездил туда с Fgère*, с тем, что мой брат. Он сказал, что там идет бой.

* Брат (фр.).

— О, черт, — сказал я, — тебя испортили эти партизаны.

Мы ехали по дороге мимо горящего склада с Арчи, у которого ярко-рыжие волосы, шесть лет службы в регулярной армии, четыре французских слова в запасе, нет переднего зуба и есть брат в партизанском отряде. Он от души рассмеялся, когда гигантский заряд с шумом взлетел в воздух.

— Вот как хлопает, Папа, — кричал он. Его веснушчатое лицо выражало бесконечное счастье. — Говорят, что этот Париж — мировой город. Папа, ты был там?

— Да.

Теперь мы спускались вниз. Я хорошо знал эту дорогу и знал, что мы увидим за следующим поворотом.

— Frère мне рассказывал что-то об этом городе, когда колонну задержали, но я не разобрал, — сказал Арчи. — Все, что я понял, — это, должно быть, мировое место. Он сказал, что собирается идти еще и в Панаму. Это место не имеет никакого отношения к Панаме?

— Нет, Арчи, — сказал я, — французы называют Париж Рапате, когда очень его любят.

— Понятно, — сказал Арчи. — Compris. Как можно называть девушку, но не по имени. Правильно?

— Правильно.

— Не мог разобрать, что там нес Frère, — сказал Арчи. — Понимаю, это все равно, как они меня зовут Джимом. Все в отряде зовут меня Джимом, а мое имя Арчи.

— Может быть, они тебя любят, — сказал я.

— Они — хороший отряд, — сказал Арчи, — самый лучший из всех, с какими я служил. Нет дисциплины. Надо сказать. Пьют все время. Надо сказать. Но здорово дерутся. И им все равно — убьют их или нет. Compris?

— Да, — сказал я. И в ту минуту не мог больше сказать ни слова, потому что почувствовал странный комок в горле, и я должен был протереть свой бинокль, потому что теперь там, внизу под нами, серый и как всегда прекрасный раскинулся город, который я люблю больше всех городов на свете.

СОЛДАТЫ И ГЕНЕРАЛ

«Кольерс», 4 ноября 1944

Пшеница созрела, но сейчас здесь некому было ее убирать. След гусениц танка пролегал через поле к борозде, где в кустах стояли танки и откуда были видны лесистая местность и холм, который им предстояло взять завтра. В этой лесистой местности и на холме не было ни души между нами и немцами. Мы знали, что у них здесь есть пехота и от пятнадцати до сорока танков. Но дивизия продвигалась так быстро, что оторвалась от остальной колонны, и вся местность, расстилавшаяся перед нами, с ее мирными холмами, долиной, крестьянскими домиками, с полями и фруктовыми садами вокруг, и город с серыми стенами, шиферными крышами зданий и остроконечным шпилем колокольни представляли собой открытый левый фланг. И все это было смертоносно.

Дивизия не продвинулась дальше своей цели. Она дошла до нее, до этой высоты, где мы теперь стояли, точно в срок, когда ей и следовало дойти. Она брала ее день за днем, а потом неделя за неделей, и вот уже месяц, как она наступала. Никто не различал больше отдельных дней, и история, свершающаяся ежедневно, уже для нас не существовала. Все расплылось в усталости и пыли, в трупном запахе скота, запахе только что взрытой толмой земли, скрежете танков и бульдозеров, стрельбе автоматических винтовок и пулеметов, в прерывистой сухой болтовне немецких автоматов, в торопливой дробе немецких ручных пулеметов и в вечном ожидании, чтобы подтянулись остальные.

Все в памяти слилось в одно сражение на смертоносной низине, поросшей кустарником, которое потом перешло на высоту и через лес опять на равнину, минуя города, одни разрушенные и другие совсем не пострадавшие от обстрела, а потом опять наверх на эту пересеченную лесистую сельскую местность, где мы сейчас находились.

Теперь история — это старые консервные банки из продовольственного пайка, брошенные доты, сухие листья на ветках, нарезанных для маскировки. Это — сожженные немецкие машины, сожженные танки «шерман», много сожженных немецких «пантер» и мало сож-

женных «тигров», мертвые немцы на дорогах, в кустах и садах, немецкое снаряжение, разбросанное повсюду, немецкие лошади, бродившие по полям, и наши раненые и наши мертвые, которых везли нам навстречу связанными по двое на крышах эвакуационных джипов. История — это дойти до места назначения во-время и ждать там, когда подтянутся остальные.

Сейчас в этот ясный летний день мы стояли и смотрели туда, где завтра дивизия будет драться. Это был один из первых дней по-настоящему хорошей погоды. Небо было высокое и голубое, а впереди, слева от нас, наши самолеты бомбили немецкие танки. Сверкая серебром на солнце, крошечные П-47 шли пара за парой высоко в небе и описывали круги, прежде чем, перевернувшись через крыло, начать бомбить с пикирования. Когда они снижались, становясь большеголовыми и громоздкими в пике, появлялись вспышки с дымом и раздавался тяжелый грохот. А П-47 взмывали и кружили, идя на новый заход, а потом пикировали впереди дыма, стлавшегося за ними, который оставляли их пушки. Над островком леса, на который пикировали самолеты, взметнулось яркое пламя, за ним столб черного дыма, а самолеты продолжали бомбить и бомбить.

— Это они ударили по фрицевскому танку, — сказал танкист. — В один из наименее ...

— Вы видите его в бинокль? — спросил танкист в шлеме.

Я сказал:

— С нашей стороны его закрывают деревья.

— Ага, деревья, — сказал танкист. — Если бы мы пользовались прикрытием, как эти проклятые колбасники, гораздо больше парней дошло бы до Парижа или Берлина, или куда мы там идем.

— Домой, — сказал другой танкист, — вот куда я иду. — Во всяком случае я иду туда. Во все остальные места вход нам воспрещен. Мы никогда не входим в города.

— Легче, — сказал высокий боец. — Всему свое время.

— Скажи, корреспондент, — обратился ко мне другой танкист. — Никак не могу понять. Ответишь, а? Что

ты делаешь здесь, ведь тебе здесь не положено быть? Ты делаешь это ради денег?

— Конечно, — ответил я, — ради больших денег. Колоссальных.

— Мне это не понятно, — сказал он серьезно. — Я понимаю, что это можно делать, потому что ты должен это делать. Но ради денег — не понятно. Нет таких денег, за которые я стал бы делать это.

Немецкий снаряд с дистанционным взрывателем щелкнул над нами и приземлился где-то справа от нас, оставив в воздухе клуб черного дыма.

— Эти гады-колбасники пускают свои штучки слишком высоко, — сказал боец, который не стал бы делать этого за деньги.

В этот момент немецкая артиллерия ударила по холму за городом, слева от нас, где залег один из батальонов первого из трех пехотных полков дивизии. Склон холма запрыгал в воздухе взвивающимися темными фонтанами от бесчисленных взрывов.

— Теперь мы на очереди, — сказал один из танкистов. — Они нащупали нас.

— Если они начнут стрелять, ложись под танк с задней стороны, — сказал высокий танкист, который говорил другому, что всему свое время. — Это самое надежное место.

— Эта махина выглядит несколько тяжеловато, — сказал я ему. — А вдруг ты начнешь отступать в спешке?

— Я крикну тебе, — осклабился он.

Наши 105-миллиметровые орудия открыли ответный огонь, и немцы прекратили обстрел. Аэростат медленно кружил над нами. Другой отнесло правее.

— Они не любят стрелять, когда эти штучки в воздухе, — сказал высокий танкист, — потому что они засекают их огневые точки, а потом наша артиллерия и авиация задают им жару.

Мы пробыли здесь некоторое время, но немецкая артиллерия только изредка постреливала на холм, который удерживал батальон. Мы так и не начали атаку.

— Вернемся назад и посмотрим, где остальные, — предложил я.

— О'кэй, — сказал Кимбраф, который вел мотоцикл,

захваченный у немцев. На нем мы с ним и разъезжали. — Пошли.

Мы попрощались с танкистами, повернули назад, пересекли пшеничное поле, сели на мотоцикл (я на заднее сиденье) и выехали на пыльную дорогу, взбитую танками в густые облака серого порошка. В коляске мотоцикла лежали боеприпасы, фотопринадлежности, запчасти, захваченные у немцев, бутылки с бензином, ручные гранаты, несколько автоматов. Все это принадлежало ефрейтору (теперь сержанту) Джону Кимбрафу из Литтл Рока, штат Арканзас.

Содержимое коляски могло бы иллюстрировать фантастическое представление о хорошо вооруженном партизанине, и я часто думал, как Ким собирается развернуться, если в одной из наших поездок по территории, неизвестно кому принадлежащей, нам не удастся предпринять обходной маневр. Хотя Ким многосторонний человек и я уважаю его способность к импровизации, все-таки на меня находил страх при мысли, что он начнет отстреливаться тремя автоматами, несколькими пистолетами, карабином и еще немецким ручным пулеметом одновременно, не рассеивая при этом достаточно огня. Но потом я решил, что он собирается вооружать местное население по мере нашего продвижения по неприятельской территории. Это оказалось вполне реальным на один случай. Мне за мое предвидение полагалась бы еще одна нашивка и, думаю, этому несколько перевооруженному парню — тоже.

Мы поехали по дороге назад к городу, который взяли в тот день, и остановились у кафе напротив церкви. По дороге с лязгом и скрежетом проходили танки и шум удалявшегося танка тонул в нарастающем гуле следующего за ним. У танков были открыты башни и бойцы небрежно отвечали на приветствия деревенских мальчишек, махавших рукой каждой машине. Старый француз в черной фетровой шляпе, накрахмаленной рубашке, в черном галстуке и в пыльном черном костюме с букетом цветов в правой руке стоял у входа в церковь и церемонно приветствовал каждый танк, поднимая свой букет.

— Кто этот человек? — спросил я хозяйку кафе, когда мы стояли в дверях кафе, пропуская танки.

— Он немного не в себе, — сказала она, — но он —

исключительный патриот. Он здесь с самого утра, с того времени, когда вы вошли в город. Он ничего не ел с тех пор. Дважды родные приходили за ним, но он остался здесь.

— Он и немцев приветствовал?

— О, нет, — сказала хозяйка. — Он человек огромного патриотизма, только с некоторых пор, понимаете, несколько помешался.

В кафе сидели три солдата перед опорожненным наполовину графином сидра и с тремя стаканами на столике.

— Этот кровопиец, — сказал один из них, небритый, высокий, худой и несколько захмелевший парень, — этот проклятый кровопиец сидит в шестидесяти милях от фронта. Он всех нас угробит.

— О ком это ты говоришь? — спросил Ким солдата.

— У, этот кровопиец! Генерал!

— Как далеко, ты говоришь, он находится? — спросил Ким.

— В шестидесяти милях и ни на дюйм ближе. В шестидесяти милях, на которых мы проливали кровь. Мы все мертвы. Разве он знает об этом? Разве ему есть до этого дело?

— Знаешь, где он сейчас находится? В трех тысячах ярдов отсюда, — сказал Кимбраф. — Может быть, он уже прошел вперед. Мы встретили его по дороге, когда ехали сюда.

— Ты дурак, — сказал небритый солдат. — Что ты знаешь о войне? Этот кровопиец в шестидесяти милях отсюда и ни на дюйм ближе. Посмотри на меня! Я когда-то пел, выступал с очень хорошими оркестрами, да — очень, очень хорошими. А моя жена мне изменяет. Мне не надо даже проверять. Она мне сама сказала. А вот там все, во что я верю.

И он показал рукой на противоположную сторону дороги, где пожилой француз все еще поднимал свои цветы, приветствуя проходящие танки. Священник в черном шел по кладбищу позади церкви.

— В кого ты веришь? В этого француза? — спросил другой солдат.

— Нет. Я не верю в этого француза, — сказал солдат, который выступал с хорошими оркестрами. — Я верю в то, что представляет священник. Я верю в Цер-

ковь. А моя жена была неверна мне больше, чем один раз, много раз. Я не дам ей развода, потому что я верю в это. Вот почему она не захотела подписать мои документы. Вот почему я не унтер-офицер артиллерии. Я закончил унтер-офицерскую школу, а она не подписала документов, а в эту самую минуту она изменяет мне.

— Он и петь может, — сказал мне другой американский солдат. — Я слышал однажды ночью, как он поет. Здорово поет.

— Не могу сказать, что ненавижу свою жену, — сказал солдат, который выступал с хорошими оркестрами. — Она изменяет мне сейчас, сию минуту, а мы здесь и только что взяли этот город. Не могу сказать, что я ненавижу ее, хотя она испортила мне жизнь, и из-за нее я не унтер-офицер. Но я ненавижу генерала. Я ненавижу этого бездушного кровопийцу.

— Пусть поплачет, — сказал другой солдат. — Это ему помогает.

— Послушай, — сказал третий солдат. — У него трагедия дома, у него личные неприятности. Но послушай, что я тебе скажу. Это — первый город, в который я вошел. Пехота берет их, а чаще проходит мимо, а потом, когда мы возвращаемся назад, оказывается, что в город вход воспрещен, и он наводнен военной полицией. Здесь, в этом городе нет ни одного полицейского. Это несправедливо, что мы не можем войти в город.

— Позже... — начал я. Солдат, который выступал с очень хорошими оркестрами, влез в разговор.

— Здесь не может быть никаких позже, — сказал он, — этот кровопиец убьет нас всех. И делает он это все для того, чтобы прославиться, и потому что он не понимает, что солдаты — люди.

— Он не может сказать ничего, кроме того, что мы на передовой, а я могу, — сказал Ким. — Ты же не знаешь, что делает дивизионный, и получает ли он приказы, как ты и я.

— Хорошо. Тогда ты отпусти нас с передовой. Если ты все знаешь, отпусти нас. Я хочу домой. Если бы я был дома, может быть, ничего бы не произошло. Может быть, моя жена никогда бы мне не изменила. Правда, мне теперь наплевать на все. Мне на все наплевать.

— Почему же ты тогда не заткнешься? — спросил Кимбраф.

— Я заткнусь, — сказал эстрадный певец. — И не произнесу ни слова о генерале, который убивает меня каждый день.

В ту ночь мы поздно добрались до продвинувшегося вперед штаба дивизии. Оставив солдат в кафе в только что взятом городе, мы последовали за танками до того места, где они были остановлены минами, завалом на дороге и сильным огнем противотанковых орудий.

В дивизии кто-то сказал:

— Генерал хочет тебя видеть.

— Я пойду помоюсь.

— Нет. Иди сейчас же. Он беспокоился о тебе.

Генерал лежал в прицепе в старом сером шерстяном белье. Его лицо, все еще красивое, когда он отдохнет, было серым, осунувшимся и бесконечно усталым. Только глаза были веселые, и он произнес своим добрым ласковым голосом:

— Я беспокоился о тебе. Что тебя так задержало?

— Мы напоролись на танки, и я вернулся окружным путем.

— Каким?

Я сказал ему.

— Расскажи, что ты видел сегодня там-то и там-то.

И он назвал подразделения пехоты.

Я рассказал ему.

— Люди очень устали, Эрни, — сказал он. — Им надо отдохнуть. Даже одной ночи хорошего отдыха было бы неплохо. Если бы они могли отдохнуть четыре дня... только четыре дня. Но это все старая песня.

— Ты сам устал, — сказал я. — Поспи. Я пойду. Тебе надо поспать.

— Генерал не должен быть усталым, — сказал он. — И уж, конечно, больным. Я не так устал, как они.

В этот момент зазвонил телефон, он поднял трубку и назвал пароль.

— Да, — сказал он. — Да. Как ты там, Джим? Нет. Я всех их уложил спать на эту ночь. Я хочу, чтобы они немного поспали. Нет. Я атакую утром, но на штурм не пойду. Я собираюсь пройти город. Ты же знаешь, что я не верю в штурм городов. Тебе следовало бы уже это знать. Нет. Я выйду ниже... Да, правильно.

Он вылез из-под одеяла и подошел к огромной карте, держа трубку в руке, и я смотрел на его подтянутую

фигуру в сером шерстяном белье, вспоминая, каким он был блестящим генералом до того, как дивизия побывала в действии.

Он продолжал говорить по телефону: «Джим? ... Да. У тебя будет тяжелый участок. Придется потрудиться. Ты же знаешь, что были кой-какие разговоры. Да. Понимаю. Когда ты соединишься со мной, я дам тебе свою артиллерию, если понадобится... Да. Безусловно. Совершенно верно... Конечно, нет. Я это и имею в виду, иначе бы не стал говорить... Точно. Хорошо... Спокойной ночи».

Он повесил трубку. Его лицо было серым от усталости.

— Эта дивизия — наш левый фланг. Они хорошо дрались, но очень долго пробирались через лес. Когда они соединятся с нами и пройдут вперед, я думаю у нас будет четырехдневный отдых. Пехоте он очень нужен. Я рад, что люди отдохнут.

— Теперь тебе надо было бы поспать, — сказал я.

— Я должен работать сейчас. Остерегайся ты этих уединенных дорог и береги себя.

— Спокойной ночи, сэр, — сказал я. — Зайду рано утром.

Все думали, что у дивизии будет четырехдневный отдых, и на следующий день много было разговоров о душе, о красивых девушках из Красного креста и о Витней Борн, которая играла в фильме «Преступление без страсти», и мы все были так обрадованы предстоящим отдыхом, что не обратили внимания на то, что этот фильм был очень старый. Но все вышло иначе. Немцы устроили сильное контрнаступление, и сейчас, когда я пишу эту статью, дивизия все еще находится на перерыве.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Хемингуэй и журналистика 5

РЕПОРТАЖИ, 1920—1924

Бесплатное бритье	13
Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха	16
«Два-десять»	18
Кладбища моды	20
Контрабанда канадского виски в Штаты	21
Убийства в Ирландии. Цена поднялась до 400 долларов	24
Война гангстеров в Чикаго	26
Чикаго никогда не был таким мокрым, как теперь	28
Турист в Швейцарии	31
У берегов Испании — тунец	32
Барышники — волки и овцы	34
Парижские моды	36
Парижские шляпки	37
Американская богема в Париже. Чудной народ. <i>Перевод</i> <i>И. Кашкина</i>	37
Вот он какой — Париж! <i>Перевод И. Кашкина</i>	40
Революция и контрреволюция. <i>Перевод И. Кашкина</i>	42
Две русские девушки — самые привлекательные в зале. <i>Пере-</i> <i>вод И. Кашкина</i>	44
Судьба разоружения. <i>Перевод И. Кашкина</i>	45
Много форели в Ронском канале	48
Итальянские фашисты	50
Большой «аперитивный» скандал	53
Перелет из Парижа в Страсбург	56
Способ делать деньги	59
Константинополь	63
Безмолвная процессия. <i>Перевод И. Кашкина</i>	63
Предательство, разгром . . . и восстание. <i>Перевод И. Кашкина</i> Беженцы из Фракии. <i>Перевод И. Кашкина</i>	64
Фашистский диктатор. <i>Перевод И. Кашкина</i>	66
	67

Французская политика	69
Очень нелегко попасть теперь в Германию	72
Короли теперь занимаются не тем, чем прежде	78
Качало на суше, как на море в шторм	84
Памплона в июле	90
Ловля форели в Европе	100
Много военных наград на продажу, но никто не желает их покупать	106
Последняя ставка марки	109
Рождество на крыше мира	113
Снежные обвалы в Альпах	121
Конрад — оптимист и моралист	128

«ЭСКВАЙР», 1934—1936

Стрельба из машины — это не спорт. Второе письмо из Тан- ганьики	133
Заметки о будущей войне. Письмо на злободневную тему	137
На голубой воде. Гольфстримское письмо	144

ИСПАНСКАЯ ВОЙНА

Первые военные впечатления	157
Артиллерийский обстрел Мадрида	159
Близость смерти	161
Падение Теруэля	163
Беженцы	167
Бомбежка Тортосы	169
Тортоса спокойно ожидает атаки	172
Программа реалистической политики США	174
По поводу одной информации	178

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Как мы пришли в Париж	185
Солдаты и генерал	194



Эрнест Хемингуэй

РЕПОРТАЖИ

Тематический план 1968 г. № 116

Редактор *Л. В. Кутукова*

Художник *И. С. Клейнард*

Художеств. ред. *К. И. Журинская*

Технический редактор *М. С. Ермаков*

Корректоры *А. С. Аполчина,*

Н. Я. Корнеева

Сдано в набор 16/XII 1968 г.

Подписано к печати 4/VI 1969 г.

Л-82074

Формат 84×108¹/₃₂

Бумага тип. № 1

Физ. печ. л. 6,375 Усл. печ. л. 10,71

Уч.-изд. л. 10,41 Изд. № 866

Зак. 221 Тираж 40 000 экз.

Цена 80 коп.

Издательство

Московского университета

Москва, Ленинские горы,

Административный корпус.

Типография Изд-ва МГУ.

Москва, Ленинские горы

Цена 80 коп.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**